

Выхожу 1 ја на дорогу

Автор:

Андрей Филимонов

Выхожу 1 ја на дорогу

Андрей Викторович Филимонов

Проза нашего времени (АСТ)

Андрей Филимонов – прозаик, поэт, журналист, автор романов «Головастик и святые» (шорт-лист премий «Национальный бестселлер» и «НОС»), «Рецепты сотворения мира» (шорт-лист премии «Большая книга»).

Под обложкой сборника «Выхожу 1 ја на дорогу» Филимонов, как в магическом калейдоскопе, дважды прокручивает историю XX века.

В цикле рассказов о частной жизни – от Гражданской войны на Транссибирской магистрали до парижских терактов 2015-го. А в промежутке – осколки минувшего столетия: торжество сталинской конституции в 1937-м, мечты шестидесятников и застойное пьянство, дауншифтинг как образ жизни, эмиграция...

В романе «Рецепты сотворения мира» члены одной разветвленной семьи – люди с разной судьбой: предатели и герои, эмигранты и коммунисты, жертвы репрессий и кавалеры орденов. Дядя Вася погиб в Большом театре, юнкер Володя проиграл сражение на Перекопе, юный летчик Митя во время войны крутил на Аляске роман с американкой из племени апачей... И никто из них не рассказал о своей жизни. Главный герой романа отправляется на берега Леты, чтобы лично пообщаться с тенями забытых предков.

Содержит нецензурную брань.

Андрей Филимонов

Выхожу 1 ја на дорогу

© Филимонов А. В.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Истребление ангелов

1

Раньше такой хамской погоды не было. Раньше снег был ленивый, падал не спеша, прогуливаясь с неба на землю, как сытый ангел. Но настал октябрь семнадцатого, и погода озверела. Революционный снег царапает человека до крови, словно из разбитых часов кто-то вытаскивает и швыряет вам в лицо колючие колесики.

Время летит впереди человека. Год прошел, как не было, в красно-белой круговерти, зима явилась ранняя и злая даже для Сибири; так всегда бывает на переломах истории, словно бы мало людям других бед.

Метель наскочила на станцию «Тайга» внезапной кавалерийской атакой и загнала пассажирское стадо в маленький душный вокзал. Там было тесно и тоскливо, как в Чистилище. Дымила печь, хныкали дети, ругались незнакомцы. Счастливые обладатели узлов и чемоданов расселись, можно сказать, по нынешнему времени, с комфортом. Путешествующие налегке обреченно переминались с ноги на ногу.

– Зал ожидания у моря погоды, – сказал господин с лицом желтым, как бульварная газета, покосился на стоявшего рядом железнодорожного служащего в форме и ехидно добавил: – А погода навикжелила[1 - Навикжелить – неологизм времен Гражданской войны, образованный от ВИКЖЕЛЬ (Всероссийский исполком ЖД-профсоюзов), который организовывал забастовки, парализующие движение по железным дорогам.]

Железнодорожный служащий хотел отодвинуться и потревожил соседа.

– Да не елозьте вы, саботажник! – потребовал сосед, мужичок в лисьей шубе, по виду городской крестьянин с запросами. Он взмахнул перед лицом железнодорожника часами так яростно, что чуть не оторвал цепочку. – Двенадцатый час ночи! Где, я вас спрашиваю, поезд? Мне в Омск нужно!

– Телеграфируйте адмиралу. Пусть пришлет за вами катер, – огрызнулся железнодорожник.

– Вы слышали? Слышали, что он говорит? – Взвизгнула лисья шуба. – Это же агент Совдепа!

Голос у мужичка был гнусный... хотелось его обладателя запломбировать в вагон и малой скоростью отправить в красную Москву... пусть там расскажет про свое важное омское дело. Но деваться было некуда, вьюга стучала по входной двери ледяным кулаком. Желтолицый господин возвел глаза к потолку и стал напевать какую-то шансонетку на мотив «Боже, царя храни».

– Зинаида прислала оттуда письмо с японским дипломатом, – нашептывала подруге красивая дама. – Представьте, на Литейном она видела отца Павла в летней одежде, а на шее у него красный короб с игрушками. Прохожие идут мимо, никто не интересуется. Зинаида хотела купить что-нибудь из жалости, подошла, – а это не короб, а гробик, а там младенец, а на нем бумажный венок. Так печально.

В углу сама собой зашевелилась груда синего тряпья, поползла вверх вдоль стенки, вытянулась и превратилась в огромное пальто. Осторожно, как муха из чернильницы, выглянул оттуда некто длинноволосый, заспанный. Лицо совсем юное, раньше бы сказали – студент, а теперь – кто его знает. Голова покрутилась в просторном вороте и нырнула обратно.

– Еще Зинаида написала, что в Москве нельзя купить даже сушеной селедки, а комиссары едят людей. В газетах пишут, что расстреливают, а на самом деле – едят. Так печально.

Синее пальто застонало, дама вздрогнула. Длинноволосый снова высунул голову из ворота, теперь на носу у него были очки в металлической оправе, он воздел длинные руки над головами печальных женщин, словно хотел забраться на убогую люстру. Потом вдруг заколыхался в своем пальто, как в колоколе, и молитвенно взвыл на весь зал:

– Господа! Что вы делаете, вы же все большевики, господа! Посмотрите на себя, вы все большевики!

Пожилой священник в черной штопаной рясе, собиравшийся закусить у буфета неаппетитной серой плюшкой, перекрестился. Офицер с новеньким бело-зеленым шевроном сибирской армии на рукаве громко потребовал:

– Замолчите!

– Все, все большевики, – повторял юноша, раскачиваясь из стороны в сторону и возмущая общественность.

К счастью, это безобразие продолжалось недолго. Из хвоста, змеившегося в уборную, раздался непонятный индейский вой:

– У-у-у! У-лю-лю! Люциферище!

И опять поперхнулся булочкой священник. А через толпу невежливо протолкался молодой человек, который обнял странного длинноволосого субъекта.

– Люцифер, родной, мы-то думали – тебя уже нет, а ты... – он смеялся, но смех его был тревожен и вопросителен.

Дружеские объятия подействовали, юный Люцифер успокоился и, глядя на своего визави сверху вниз, тихо сказал:

– Агасфер.

– Ну! А кто еще! Ах ты, мерзавец, артист из погорелого театра! – воскликнул названный Агасфером. – Пойдем на воздух, там никого, – и увлек друга на дебаркадер.

2

Я позабыл вкус и запах еды, тяжесть и нежность прикосновений, а вот табачный дым до сих пор воспринимаю физически... хотя это невозможно. Курильщики стоят в тамбуре, снаружи злой ветер гасит всякий огонь, они курят торопливо и печально. Насколько я понимаю, отечество снова в опасности, и в магазинах нет папирос. Некоторые мужчины просят цыганок, которых много в этом вокзале, продать им табак. Воровской жест: два разведенных пальца быстро касаются губ. Цыганки трясут юбками, вентилируя анатомию, и не обращают на них внимания.

Странный лохматый человек в тесном пальто, лопнувшем на спине по шву, выкрикивает, стоя в центре зала, странные слова. «Дяханы и теханы, гоните ваши треханы! Кто не кинет рваного, тот совок поганый!» Хитрый сумасшедший, который свое безумие пытается обменять на какие-то крохи материальных благ. Ему не подают. Он слишком навязчив и нелеп. Размахивает руками, прореха на спине разъезжается. «Вы все работники совдепа! – кричит он, обводя рукой зал ожидания. – Сраные работники совдепа!»

На буфетной стойке лежит кусок серого сыра. Седовласый священник подошел, украдкой понюхал, и его прошибло крупным потом. Утирая лоб рукавом ветхой рясы, вернулся к своему чемодану. Пообедал! Буфетчица храпит рядом с сыром, ей ничего. Ей снятся Черное море, волосатые южане и много денег. Ничто не тревожит ее, не беспокоит.

Нервный гражданин тычет пальцем в кнопку устройства для переговоров с дежурным по станции и кричит: «Нет, вы мне скажите, на сколько времени задерживается поезд до Омска?» Из устройства доносится: «Хрюк-хрюк!» «Товарищ, это безобразие!» – говорит гражданин и отходит. «Что они вам сказали?» – спрашивают две усталые женщины. Он пожимает плечами: «Перестройка!»

«Это ужасно, – вздыхает женщина. – Я слышала, теперь в Москве вообще билетов нельзя достать, все скупили азербайджанцы». «Да при чем тут азербайджанцы! – вмешивается пожилой железнодорожник. – Если на путях заносы». «А что, раньше заносов не было? – кричат обе. – А поезда ходили!»

Поездов нет уже около полусуток (людям кажется, что это много), и все это время у кассы волнуется очередь, в хвосте которой покорно стоят три одинаковых бородатых гнома. На ногах пимы, за плечами лыжи. «Слышь, Петрович, – произносит один. – Пошли уже так. Сто кило?метров всего – дойдем».

Они дойдут, я знаю: сильные, приземистые, их не сдует злой ветер, у них есть ружья, они подстрелят зайца, по-таежному умело разведут костер и будут пировать в пустом холодном лесу. И тот, безымянный, скажет: «Вишь, Петрович, хорошо, что пошли». В прошлой жизни они были партизанами. А я...

3

На дебаркадере вокзала вьюга пожирала заживо. Часовой трясся от холода у товарного вагона, карауля запертое в нем революционное пение. «Мы жертвою пали в борьбе роковой!» – доносилось из вагона. Агасфер повернул Люцифера спиной к ветру. Синее пальто распустилось парусом, и Агасфер ухватил друга за оба рукава, чтобы тот не улетел.

– Ни зги, – слабо крикнул Люцифер. – No sky, only a snow and a scare on earth...[2 - Неба нет, только снег и страх на земле... (англ.)] Я больше не буду писать стихов по-русски...

– Ты подожди со стихами, поэт мой ненаглядный. Ты расскажи, как все было. Тебя действительно взяло чека? Маман писала...

– Не чека – мадьяры. Шел по мосту, граната в кармане, не успел выбросить. Кто-то донес. Мадьяры привезли в приют, меня и еще двоих, потом стало шестеро. Заперли в подвале. Расстреливали раненых, приносили их голыми, бросали нам под ноги... An officer like an angel he has no a body now...[3 - Офицер, словно ангел, теперь бестелесный... (англ.)]

– А потом? Ты бежал?

– Нет. Мадыяры сбежали. Матерились всю ночь, утром открыли дверь, кинули гранату. Два студента подняли мертвого офицера, опустили на гранату... взрыв, офицер взлетел... like an angel... Мы живы, мадыяры уехали в грузовике. Мои часы остановились, потом кто-то закричал сверху: господа! выходите! Мы вышли, но были уже не господа, мы стали большевиками, и они тоже, кто кричал «господа!» Я отыскал свое пальто и свою гранату на столе. Люди говорили: надо радоваться, мадыяры ушли, скоро придут чехословаки. Я не знал, чему тут радоваться. Наш дом сгорел... переночевал в каретном сарае. На рассвете вышел – пустота, все попрятались, только едет на велосипеде человек, чекист-часовщик. Я крикнул: почини мои часы, он не ответил, боится, убегает из города. Крикнул ему: я теперь большевик. Он остановился, я вынул гранату, думал, что не получится. Получилось. Колесо на липе. Часовщик улетел. The watch-maker fell in Hell...[4 - Часовщик низвергнулся в ад... (англ.)]

– Бедный Люцеферище! – всхлипнул Агасфер.

Ему вспомнился синий июнь семнадцатого года. Адвокатский особняк, знаменитый в городе дом с драконом. Черная липа с вороньим бандитским гнездом набекрень. Деловитые, озабоченные посетители Люциферова отца, у которых все время было что-то неотложное «на повестке дня». Ворчливый почтальон с телеграммами из Петрограда звонит у двери дважды, утром и вечером. Телефон внизу бряцает не переставая. «Всеволод Петрович, из думы... Всеволод Петрович, из совета...» – докладывает горничная. Голос адвоката: «Прошу вас, пообедайте без меня». Автомобиль, блестящий, как калоша, «Ля салль», тоже городская достопримечательность, отъезжает сигнала. «Мальчики! обедать!» – зовет адвокатша. Мальчики не хотят есть, они курят по четвертой папиросе, взволнованно ждут и вот – вознаграждены. «Трень-брень» – сигналият у ворот два нежных велосипедных звоночка. Революционные купеческие дочери, Ида и Тося, решились отправиться на пикник. «Полюби эту грудь, эти плечи, но, любя, полюби без любви», – цитирует Люцифер прошлогоднего гастролера Бальмонта, прячет бутылку вина в карман, незаряженный револьвер «бульдог» пихает за ремень, и друзья бегут на улицу, как недавно еще бежали, слышав шарманку или увидев китайского фокусника. «Bon jour, mademoiselles!» – кланяется Агасфер. «How are you, sweet maids!» – кричит его друг.

Для переправы на остров заблаговременно нанят молодой татарин Муса Ибатуллин. Джентльмены не должны иметь красных лиц и пыхтеть, налегая на

весла. Барышни что-то щебечут о текущем моменте, о музыке революции. Люцифер играет неопасным оружием, целит в золоченые кресты. «Каждому из нас, – говорит он важно, – предстоит только одна революция – смерть». Молодой Ибатуллин стреляет глазами, ему нравятся велосипедные костюмы девушек, он высаживает компанию на берег, отчаливает. Они идут по траве, поднимаются на теплый пригорок. Смуглая Ида томно склоняет голову на плечо Люцифера. Смешливая Тося желает бежать наперегонки. У нее легкие ноги и легкое дыхание. Агасфер настигает ее, крича, как апач, Тося спотыкается, падает в высокую траву, он тоже падает, его голова оказывается у нее на груди...

Тьма, метель, он прижимается щекой к колючему ворсу синего пальто, внутри которого надрывно кашляет Люцифер.

– Мы все большевики, – говорит он, откашлявшись. – Надо поджечь вокзал.

4

Возле кассы начинается драка. Гном Петрович тычками отбрасывает пьяного солдата. «Ты чё-ё!» – шипит солдат и распускает руки. Но гном сильный, он вроде бы не дерется, а солдат падает, раз и другой. Товарищи его, герои мирного времени, готовы броситься на помощь. «Я сам!» – кричит он, скидывает шинель, распоясывает гимнастерку.

Блестящая пряжка с желтой звездой утяжелена снутри оловом (сколько я видел этих драк, этих макушек со звездной печатью). Толпа расступается поспешно. Спящие пробудились, десятки усталых взглядов наполнились нетерпением. Никто не вмешивается. Драка разыгрывается прямо подо мной, я наблюдаю, как кружится над Петровичем блестящий снаряд. Гном вскидывает левую руку, чтобы перехватить ремень, и получает удар справа. Я вижу капли крови в воздухе, это чудо – горячая кровь живых.

Солдат пьян, но ловок. Он танцует со своим дурацким оружием. Дикарь, приносящий жертву. Победно кричит и хлещет Петровича по лицу тяжелой пряжкой. Маленький таежный человек принимает удар за ударом. Кажется, он терпеливо ждет, когда его истязатель выдохнется. Он похож на самоедского идола, которого хлещет-наказывает шаман.

Мне вспоминается настоящий шаман с лицом, занавешенным кожаными ремешками, и большой бубен с железными птицами у него в руках. На сцене Дворянского собрания он заставлял бубен выть голосами духов, а потом прятался в углу, когда зал восторженно аплодировал. Это было в 1912 году от Рождества Христова.

Ремень еще свищет в воздухе, но солдат вдруг бледнеет, остро ощутив тщетность этой драки. Веселое быстрое избиение вдруг превратилось в монотонный ужас. Петрович склонил крепкую мохнатую голову и вслепую, словно Вий, тянется пальцами к горлу противника. Тот снова замахивается, бьет, но удар выходит неточный, бессильный. Солдат бросает ремень и плачет. Сдался. Он уверен, что сейчас будет нечто похуже гауптвахты, может быть, хуже карцера.

Гном подходит вплотную, берет солдата за шиворот и валит на пол лицом вниз. Могучей таежной рукой спускает его портки, и зрители видят обыкновенную задницу героя мирного времени. Петрович поднимает ремень бойца и несколько раз бьет, не жестоко – пряжкой, а по-отечески – кожаной частью.

5

Дремучие бородатые люди беззвучно выскочили из метели. Часовой у вагона не сумел передернуть затвор обмороженными руками, его убили ударом штыка в живот. На Люцифера и Агасфера наставил винтовку мрачный раскосый юноша, чем-то похожий на лодочника Ибатуллина. «Стоять-молчать!» – приказал он. Нападавшие открыли вагон. Похоже, революционная песня исполнялась не зря, она служила сигналом. «Ну и рожи, – прошептал Агасфер. – Каторга!»

Каиновой печатью были отмечены лица, прыгавшие из тьмы вагона во внешнюю тьму. «Кацо! Битый! Загогулина!» – приветствовали их бородатые, обнимая. Главарь бородатых, крепкий мужик лет пятидесяти, носил каракулевую папаху, явно снятую с мертвой офицерской головы, и белый полушубок с двумя диагоналями отливающих синевой пулеметных лент. В тусклом свете вокзальных фонарей он напоминал Карла Маркса, подавшегося в партизаны.

– Ты кого поймал, Иса? – спросил главарь, приближаясь. – Юнкеров, чё нет?

– Что вы, что вы! – запротестовал Агасфер. – Мы мирные обыватели, мы реалисты, дети рабочих.

– Колоть? – спросил мрачный Иса.

Главарь задумался. Неизвестно, какие «за» и «против» он взвешивал, шевеля губами, но тут заговорил Люцифер. С хорошим английским прононсом, с интонацией опытного чтеца-декламатора, он произнес свой последний импровизированный стишок:

Yes.

We're twisted offsprings of death

growing through blood snow on earth...[5 - Да. Мы кривые побеги смерти, растущие сквозь окровавленный снег... (англ.)]

– Антанта! – крикнул Иса и ударил, не дожидаясь команды. Трехгранный штык, коловший еще башибузуков на Шипке, пронзил левую грудь поэта.

Люцифер исчез. Когда мрачный юноша выдернул штык, Люцифер без звука, без слова провалился в темную бездну своего (а на самом деле, чужого) пальто. Он исчез, а пальто стояло, зияло безголовым воротом, словно синий призрак. Убийца испуганно отступил назад, замахнулся прикладом на упрямое пальто. В этот момент налетел шквал ветра, и удивительная одежда, взмахнув рукавами, повалилась набок.

– Ну ты, грешный, шалишь! – проворчал лесной Карл Маркс, непонятно к кому обращаясь, и деревянной коробкой «маузера» ударил Агасфера в висок.

6

Сколько живых – и ни одного счастливого за все эти годы. Усталые, испуганные, в лучшем случае отрешенные пассажиры томятся в тесной вокзальной пещере с убогой лепниной из звезд и колосьев на потолке. Мухи не переводятся здесь даже зимой. Они ползают по многочисленным отросткам бронзовой люстры, в которую заключен мой дух.

Я засунут в этот бронзовый ужас. За какие грехи? За плохие стихи? Теперь я знаю, что всякий, кто много выпендривался перед смертью, оказывается потом в осветительных приборах. И ведь нельзя сказать, что это навечно. Когда-нибудь люстру снимут и выбросят или отправят в огненную печь на переплавку. Но об этом лучше не думать. Лучше стиснуть несуществующие зубы и наблюдать за тем фрагментом жизни, который еще доступен.

Много лет подряд приходил ко мне со стремянкой и ветошью человек, наводивший на бронзу лоск. Внизу он был сгорбленный и дерганый, кривобоко сторонился начальства. А поднявшись наверх, по двенадцати деревянным ступеням в безопасную бронзовую исповедальную, сразу начинал жарко ругаться шепотом. Полагаю, что у него дурно пахло изо рта. Его брань была забавна, бредовые инвективы перемежались вздохами искреннего ужаса. Начальники-говна-чайники... ордена на мудя... а-ах... серп и молот в жопу... размандячить всех ракетой... ох-хо-х... поганки плешивые... кукурузники трипперные... чтоб вас мать ебена партия гондоном штопаным удавила... – бормотал человек и апатично водил мокрой ветошью по моей лампе. Потом он бросал тряпку вниз и долго рассматривал крюк, на котором держалась люстра. «Эх, оборвется», – шептал он с тихой надеждой в голосе и сползал вниз по шаткой стремянке. Он уходил, а мне оставалось размышлять о том, какое беспокойство овладело бы этим городком, если бы я, как настоящий дух лампы, исполнил его желания.

Где его самого черти носили в другое время, какую исполнял он работу, появляясь в моем убежище два раза в год? Я знал по именам, кепкам и лысинам станционных чиновников, которые проходили, беседуя, через зал ожидания, беседовали, проходя, через хаос чистилища. Ксендз Понятовский, старинный друг моего отца, был прав: пургаториум существует. «Для вас, nihilisti, бессмертность души будет малоприятный сюрприз», – говорил этот надменный даже в общении с друзьями интеллектуал-руссофоб. «Бессмертность? – усмеялся отец. – По-русски говорят “бессмертие”, Игнаций».

И действительно, при жизни я предпочел бы nihil. Я почти не вспоминаю – ни отца, ни друзей, ни земные любви. А вот надо же, привязался после смерти к этому безъязыкому ругателю, маленькому чистильщику бессмысленных бронзовых ламп. Скучаю по нему, думаю о том, в какое чистилище занесло его самого. Воображаю от нечего делать, что он был уникальным в своем роде пыльных дел мастером, ездившим со своей тряпочкой по железнодорожной ветке от Омска до Томска. Мне кажется, его тихий прощальный вздох

«оборвется» действовал, как пила, утончая звенья цепи, связывающей меня с этим миром, приближал отпущение грехов: absolution.

7

Люцифера звали Леонид Всеволодович Вилленевский, Агасфера – Егор Малых. Друзья закончили томскую мужскую гимназию, отметив это событие полдюжиной черного пива «Крюгер» и расстрелом золотого ангела на крыше иверской часовни.

Стреляли холостыми, но злопамятный ангел все равно отомстил. Люцифер сгинул, пал от руки революционного татарина, Агасферу, можно сказать, повезло. Когда мужичок-лесовичок ударил его по голове, Агасфер кеглей закатился под товарный вагон. Спустя несколько минут возня нападавших была открыта станционной охраной. Заработали пулеметы. Вагон разлетелся в щепки, словно домик глупого поросенка из английской сказки.

Агасфер лежал между рельсами лицом вниз, горячее дыхание пулемета обжигало ему затылок. Неудивительно, что за время короткого боя он возненавидел тех пулеметчиков и ту призрачную власть, которую они защищали. Когда потрепанный отряд партизан был вытеснен со станции, началась привычная сортировка живых и мертвых. Агасфера без всяких сомнений причислили к красным и отвезли в компании трех уцелевших бандитов в местную тюрьму. Почему-то он не протестовал, не объяснял следователю возникшего недоразумения. Гуманный военно-полевой суд постановил всю группу «расстрелять по выздоровлению от ран» (Агасфера, на его счастье, зацепило какой-то щепкой).

Проволочка оказалась спасительной. Рождественской ночью в городок вошли на лыжах советские башкиры и переменили власть. Так Егор стал героем Гражданской войны.

Он вернулся в родной город и посвятил молодое сердце зазорному делу истребления ангелов. Они, как положено, были невидимы, зато Егор – последователен и вездесущ. К 1936 году ни церквей, ни мечетей, ни молельных домов не осталось в бывшем губернском центре. Егор лично закладывал адские машины в основание городского собора, адским пламенем горел на работе (любил жечь бороды упрямых священников), в газетах подписывался

псевдонимами Безбожник, Красный Сатана и др.

Выступал на митингах перед трудовой молодежью, зажигательно провозглашая наступление новой эры. Начиналась его речь обычно и монотонно, как всякая революционная шарманка, но в какой-то момент оратор поднимал взгляд к потолку, и, если видел там люстру, тело его выгибалось дугой. С полминуты оратор молчал, подергиваясь, а затем швырял в зал бумаги и начинал хрипло выть, побивая кулаками гулкое дерево трибуны: «МЫ ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ БОЛЬШЕВИКИ!»

Накричавшись, он падал поперек красной скатертью накрытого стола, и тогда его почтительно уносили в служебный автомобиль, черный, как калоша «Ля саль».

Жертвы спама

1

Город назывался Томск по имени реки Томь, несущей из темного прошлого в светлое будущее промысловое изобилие осетровых, сиговых и хариусовых, чьи групповые фотографии регулярно публиковались в местной газете. Передовики рыбозаготовки рапортовали: наши сети притащили 150 % сверх плана! Душа радовалась этим цифрам: один, пять, ноль. К сожалению, в текущем моменте наблюдались отдельные недостатки – гастрономы зияли пустотой, на продуктовые книжки нельзя было отоварить ни рыбы, ни мяса, ни масла, ни жира.

Поэтому у нас в городе все думали о еде. Кроме ссыльного поэта Николая Клюева, ожидавшего смерти. И одного товарища из бюро горкома, мужеложца, который накануне, в пьяной компании, расхаживая по комнате голым, налепил на лоб портрет Сталина и бездарно изображал грузинский акцент. Утром, проспавшись и вспомнив вчерашнее, он застрелился без всяких колебаний. Кроме этих двоих, остальных граждан посасывали голодные мыслишки.

Шел второй день шестидневки десятого месяца непрерывки двадцатого года Пролетарской революции. Маслов, Гриневский, Сенников, Михалков и Кунгуров, комсомольцы допризывного возраста, думали о еде, преодолевая удушье. Они в противогазах шлепали по раскисшей от дождя грунтовке, тянувшейся вдоль колхозных полей. Каждые сорок пять минут, как положено по инструкции, они срывали резиновые маски и падали на землю с разинутыми ртами. Позади них ехал в телеге смотрящий товарищ из Органов, который, хотя и дрых всю дорогу, намотав вожжи на сапог, но был так страшен даже во сне, что комсомольцы не смели жульничать и дышать без противогаза. Товарищ, по фамилии Иванов, лежал головой на мешке с сухарями, и если ему казалось, что Маслов, Гриневский, Сенников, Михалков и Кунгуров недостаточно выглядят молодцами, то на привале он им пожрать не давал.

Если честно, в этот поход-переход (восемьдесят верст пешкодралом) они отправились только затем, чтобы хоть раз в жизни налопаться от пуза. В ихнем педагогическом училище столовка закрылась еще в мае – по причине вредительства. В других столовках ихние талоны не принимали. В магазинах и кооперативах требовали живых денег. Или предлагали ишачить грузчиками за буханку хлеба в день. А как грузить, не подкормившись? Последние силы уходили на онанизм. Маслов, самый умный парень в общаге, вытирая липкие пальцы о штаны, приговаривал: и чё нельзя так брюхо нагладить, чтобы жрать расхотелось?

Он был такой умный, что иногда казался врагом народа. Классово чуждая душа угнездилась в его теле. Утром Маслов подолгу сидел в одних трусах перед картонным радиорупором, дул внутрь и чихал от поднявшейся пыли. Когда радио начинало разговаривать, он хихикал, как ребенок: и-и-и! «Моя мечта – побывать в Мавзолее и увидеть вас, товарищ Сталин!» – хрипел рупор голосом пионерки. «И-и-и! – смеялся Маслов. – Время такое!» Объяснял, что смех помогает от голода.

Летом Маслов, Гриневский, Сенников, Михалков и Кунгуров ходили побираться на Каменный мост, шугнув оттуда волосатого, по фамилии Клюев, деда, известную сволочь, научившую поэта Есенина молиться богу, отчего тот помер молодым. За такие дела советская власть укатала Клюева в Сибирь, рассчитывая, что он скоро протянет ноги в местах не столь отдаленных. Только дед оказался живучий. Да и несознательный народ из жалости подавал деду копеечку, а в протянутые кепки молодых комсомольцев плевал с брезгливой гримасой. Поэтому Маслов, Гриневский, Сенников, Михалков и Кунгуров от

полной безнадеги скоро начали воровать и, дважды попавшись, были вызваны в райком, где секретарь Янкелевич их спросил: «Ну что, бандиты, в исправдом хотите?» Гриневский пробурчал, что в исправдоме, поди, каждый день хлебают баланду, а здесь, на свободе, подохнешь, опухнув, и никто пальцем не шевельнет. Искренность этой жалобы развеселила секретаря.

«Я вижу, – сказал он, – что голодное брюхо к марксистско-ленинскому учению великого Сталина глухо. Ладно, преступники, будет вам желудочный пир, если докажете, что кишка не тонка». «Это как?» – спросил осторожный Сенников.

Янкелевич объяснил: «Вас пятеро, с точки зрения народного судьи, вы – банда. Но у меня вы станете звездой Осовиахима. В преддверии юбилея великого Октября вы наденете газовые маски на свои тупые головы и преодолеете трудности в пешем походе. Пусть увидят наши враги, что советская молодежь готова к химической войне. В награду получите два царских обеда, один по прибытии на станцию, другой – из дальних странствий возвратясь...»

– Подъем, дохляки! – заорал товарищ Иванов и зевнул. – Гондоны – в сумки, достать конституцию!

Они свернули с грунтовки на проселочную дорогу и сразу утонули в жидкой земле, разливающейся до горизонта, как черное море унылого цвета, где, словно парус одинокий, маячил розовый транспарант с белыми буквами: колхоз имени товарища Эйхе. Вот сюда им и надо было. Веселый секретарь Янкелевич повесил на них нагрузку – по дороге в Тайгу знакомить неграмотных колхозников со сталинской конституцией, которая на тот момент остро нуждалась в рекламе. Молодая и неопытная, она привлекала иностранцев, особенно французских товарищей, типа Селина и Роллана, понимающих толк в извращениях. Этим месье у нас почти всё нравилось, кроме того, что противогаз в СССР назывался «изделие номер 1», а презерватив – «номер 2». Система ценностей, предлагаемая советской резиновой промышленностью, смущала рациональные западные умы. Наши иностранные друзья, при всём уважении к сталинской конституции, не могли поверить, что противогаз для молодого человека на самом деле важнее презерватива. Не верили и требовали доказательств. Поэтому и топали сейчас в Тайгу Маслов, Гриневский, Сенников, Михалков и Кунгуров, чтобы личным примером убедить сомневающихся comrades.

Нелегкая задача, адски трудная. Что там иностранцы, если даже товарищ Иванов, плоть от плоти трудового народа, и тот не верил, глумился над героями Осовиахима и всю дорогу, когда не спал, шутил про гондоны с глазами, гондоны с хоботом и тому подобное.

Однако Гриневский, Сенников, Михалков, Кунгуров и даже умный Маслов этих шуток не понимали. Остывшие от голода, они облизывали изнутри свои маски, наполняя рот горечью талька. На последнем привале совсем уже задроченный Михалков жалобно попросил у товарища Иванова сухарик, но тот (в шутку) велел Михалкову сосать у гортоповского коня. И обещал выдать двойной паек в случае, если ему шибко понравится беседа с колхозниками.

2

Маршал Демид, военный министр Монгольской народной республики, стоял у окна спального вагона, пытаясь самостоятельно прочесть название станции. Демид уважал великий могучий русский язык, но угловатая кириллица, похожая на дурацкую игру «городки», не нравилась министру. Однажды он пролистал советский букварь, выданный офицерам генерального штаба по инициативе маршала Чойбалсана, и после этого мучился кошмарами, в которых его внутренности пронзали острые, как вилы, ЖИ-ШИ и ЧА-ЩА.

– Что там написано? – кивнул на станционную вывеску маршал, обернувшись к секретарю-переводчику Момбосуруну.

– «Тайга», – ответил секретарь с поклоном.

– Плохое название. Долго еще мы будем здесь стоять?

– Капитан обещал отправиться в путь до захода солнца, – Момбосурун дипломатично лгал. Он ни о чем не спрашивал начальника поезда (который носил военную форму и действительно напоминал капитана), потому что этот монстр не испытывал почтения ни к кому. Он даже маршала, военного министра, осмеливался громко, во весь голос, называть «желтожопой обезьяной».

Отношения испортились в самом начале пути. А виноват майор Доржиев, начальник охраны, горячий человек, отказавшийся дать русскому денег. Когда

пересекли границу, начальник поезда пришел к майору и заявил, что дорога до Москвы занимает две недели, поэтому на закупку продовольствия для свиты военного министра необходима тысяча долларов. Майор посчитал в уме и ответил, что на эти деньги можно две недели кормить свиту маньчжурского императора Пу И.

– Значит, нету денег? Ну, хорошо! – кивнул начальник.

И нагадил. По его приказу кухня вагона-ресторана начала готовить исключительно рыбные блюда. Кривые жареные селедки с пригорелой мучной коркой, словно ржавые ножи, вонзались в спину советско-монгольской дружбы. Тонкое издевательство. Начальник поезда знал, что благородные чингизиды брезгуют обитателями озер и рек, никогда не едят их и вообще не подходят к воде.

Русские умны и жестоки, думал Момбосурун, поэтому они строят коммунизм. О том, чтобы предложить Демиду уху из вагона-ресторана, он даже не думал.

До Иркутска кормились запасами вяленой конины. Потом майор Доржиев отправился в штабной вагон и предложил начальнику поезда триста долларов. Тот ответил, что продукты сильно подорожали в связи с раскрытием троцкистского заговора, и теперь питание для монгольской делегации стоит полторы тысячи. Секретарь-переводчик Момбосурун начал подозревать, что начальник поезда является тайным агентом маршала Чойбалсана, который давно рвется к единоличному правлению страной. Маршал Демид был последним препятствием на пути властолюбца. Он возражал против перехода страны на кириллицу. И, что самое страшное, – он уже двое суток ничего не ел.

3

– ...вот зонтик, например, построен в подражание грибу, а курящаяся трубка напоминает вулкан, механизмы же, в которых железные палки бегают туда и назад, это образ соития тел... – сумасшедший говорил как по писаному. Едва только Маслов закончил бубнить десятую главу конституции, и товарищ Иванов разрешил колхозникам задавать вопросы, как поднялся со своего места во втором ряду невероятный старик в рваной телогрейке и погнал какую-то муть. Он говорил о том, что труба граммофона похожа на ухо, а еще на ухо похож пельмень, что изобретатель отражает природу в зеркале мозга и достает

реальные вещи из своих снов, что пятилетка есть сон Сталина и так далее. Слушатели оцепенели. Собранные в конторе колхоза на лекцию, как грибы после дождя, они сохли, как зонтики. У них были закрытые темные лица. Они тесно сидели на скамейках, глядя в пол. Маслов подумал, что зонтики имени товарища Эйхе совсем непохожи на колхозников из кино, которые поют и пляшут в кузовах быстрых грузовиков. Эти молчали, и только старик бурбил свое:

– ...ничего нового нет в природе, каждый год наступает весна, потом лето, потом осень, потом зи...

– Ма-алчать! – взвизгнул Иванов, и старик дисциплинированно оборвался на полуслове. – Какой у тебя вопрос?

– Сапоги, – ответил старик.

– Что «сапоги»?

– Я не говорю: картошка, чтобы есть. Я говорю: сапоги, чтобы работать.

Иванов посмотрел на члена правления колхоза.

– А где я возьму? – развел руками член.

– Пошли отсюда! – приказал Иванов комсомольцам.

Выйдя на крыльцо, Маслов, Гриневский, Сенников, Михалков и Кунгуров тяжело вздохнули и сунули головы в противогазы. О сухарях никто не заикнулся.

Дорога в Тайгу дурна и пустынна. Нет ни указателей, ни верстовых столбов. Тяжелые телеги прорезали в теле дороги две колеи. Попадая в колею, идешь, словно канатоходец, мелкими осторожными шагами.

Третий час моросит противный дождь. Снаружи морды противогазов кажутся заплаканными, изнутри через круглые стеклышки почти ничего не видно. Умный Маслов, который читал Жюль Верна, воображает себя капитаном Немо в подводной лодке, наблюдающим дно океана сквозь иллюминатор. Это коварные англичане взорвали Тибет и выкопали тоннель под Гималаями, чтобы

превратить СССР в Атлантиду. Набежавшие волны внезапно сомкнулись над советской землей.

А ведь товарищ Сталин не раз предупреждал по радио, что враги не дремлют. Но мы потеряли бдительность, граждане великой страны повели себя как сонные тетери. И, в наказание за свою расхлябанность, стали рыбами с размокшими продуктовыми книжками, которые невозможно отovarить, а кислородные книжки мы еще не получили, поэтому задыхаемся под водой.

Но положение еще можно исправить, если спасти товарища Сталина, который носится по мировому океану, рассекая волны трибуной Мавзолея. Маслов спешит на помощь. Он поднимает свой Наутилус из бездны, раздраивает люки, вдыхает свежий воздух и говорит... нет, он не может представить себе этого разговора. Он спасет вождя молча, а потом они вместе отправятся воевать с англичанами. Сталин будет смотреть в перископ, и, как только появятся на линии горизонта под черными зонтами дыма британские дредноуты, Сталин скажет «плы!». Маслов зарядит пушку и дернет за спусковую веревку, он будет заряжать и дергать, еще и еще, пока не потонут дредноуты, и Британская империя перестанет быть владычицей морей.

Тогда они причалят к берегу, и Маслов попросит отпустить его из комсомольцев обратно в индийские принцы. Ведь он, на самом деле, индийский принц, он едет на любимом слоне, а рядом, покачивая хоботами, как маятниками, бредут еще четыре элeфанта. Принц Немо ложится на землю. Пусть меня растопчут. Такая кончина – подарок судьбы. Если умираешь под тяжестью слоновьей ноги – твоя следующая жизнь будет легкой. Но что это? Слоны предательски падают на землю и сбрасывают маски. Кто-то наклоняется к Немо и сильной рукой отрывает у него хобот.

– Хуй с вами, дохляки, – говорит Иванов. – Пока никто не видит, лесом можете идти без гондонов.

4

Стоя у окна спального вагона, голодный военный министр Демид размышлял: не пора ли сдаться, поступиться принципами и перейти на кириллицу? Он точно знал, что в русском алфавите 33 буквы. Именно такое количество самолетов и танков обещал монгольской армии нарком Ворошилов, если страна откажется от

старой уйгурской письменности. 33 самолета и 33 танка. 33 банки мясных консервов в год обещал каждому солдату нарком Микоян. 33 миллиона рублей на развитие коневодства обещал Наркомат финансов.

Конь, думал Демид, гораздо лучше паровоза. Когда летишь по степи и чувствуешь нестерпимый голод, всегда можешь надрезать своему скакуну вену пониже уха, припасть к ране губами и жадно сосать горячую кровь. Конь ничего не заметит, если всё сделаешь быстро и правильно. Проклятый начальник поезда, чтоб ему сдохнуть и переродиться в мире голодных духов, чтоб ему до конца кали-юги пить кипяток из паровозного котла! За спиной у маршала деликатно откашлялся секретарь-переводчик.

- Что тебе?

- Ваша речь для слушателей академии РККА. Скоро Москва, г-н министр, а Вы еще не изволили с ней ознакомиться.

Хитрое намерение секретаря было очевидно: он надеялся отвлечь Демида от сердитых голодных мыслей, ухудшающих карму.

- Дай сюда, - маршал просмотрел текст. - «Всему миру известно о той стремительности в натиске на врага, которую в свое время проявляла армия Чингисхана. И сейчас, стоя на пороге возрождения Монголии, мы укрепляем в нашей армии эту прекрасную черту чингисхановских войск...» Послушай, Момбосурун, как поступил бы в нашей ситуации великий Темуджин?

- Мне кажется, я знаю, - ответил секретарь и вышел из вагона.

Пятнадцать минут спустя на кухне вокзального ресторана происходила сделка. Момбосурун покупал ящик американской свиной тушенки SPAM у шеф-повара, к голове которого приставил свой револьвер майор Доржиев. Оружие он достал не сразу, а лишь после того, как жрец гастрономии запросил по 150 рублей за банку консервов, а секретарь-переводчик, посмотрев в свою записную книжечку, сообщил, что цена завышена почти в десять раз.

Хотя товарищ заведующий вокзальным рестораном стоял рядом, буквально в двух шагах, товарищ Иванов, не стесняясь этого факта, благим матом орал на всю территорию. Он кричал, что НКВД – это оплот законности в море экономического блядства, что горотдел внутренних дел за свой счет на своем транспорте доставил в Тайгу лучшую тушенку из Америки, которая называется SPAM, и все это ради молодых героев Осоавиахима.

А вредители, окопавшиеся на станции, ничего не придумали умнее, чем спиздить консервы!

– Вредитель! – кричал товарищ Иванов, хватаясь за кобуру. – Ты что тут делаешь?! Тебя сажать нельзя. Тебя расстрелять надо! Ты даже на Северном полюсе будешь воровать у советской власти!

Когда от нечеловеческого напряжения горла он наконец задохнулся и взял паузу, толстый, но бледный, товарищ заведующий спокойно объяснил, что консервы вовсе не украдены, а реквизированы военными монголами из специального поезда, который стоит на запасном пути. Монголы уплатили долларами по курсу и дали расписку. Заведующий протянул Иванову сверток.

– Валюту я передаю лично вам, – сказал он. – Вместе с распиской, которую они накорябали на своем языке, и там все равно нихера непонятно. А вы сами решайте, что с этим делать.

– Сколько здесь? – спросил Иванов.

– Я не знаю. Вы потом посчитаете. Да спрячьте! Не вертите в руках.

Товарищ Иванов послушался и убрал сверток в карман. С этого момента он сделался задумчив и как-то не до конца в себе уверен. Через плечо оглянулся на Маслова, Гриневского, Сенникова, Михалкова и Кунгурова, которые без сил лежали в привокзальной грязи под памятником Сталину.

– А с этими пидорами мне что делать?

– Героев накормим кашей. Они будут довольны.

И оказался прав. Как всегда, в голодные времена бывают правы люди, состоящие при еде. Их глаза наполнены знанием и печалью. Знанием рыночных цен и печалью о том, что не все продукты можно реализовать на черном рынке.

- Накормим, - вздохнул заведующий.

Героев усадили за длинный стол в углу ресторана и отгородили ширмой. Уж очень они были грязны. Официантка принесла пшенку, сдобренную кукурузным маслом, черный хлеб, соленые огурцы, позавчерашний творог и графин водки - для Иванова. Он выпил большую рюмку и закурил. Смеялся, пуская в лица осоавиахимовцев струйки дыма.

- Какая у нас молодежь, а! - кричал он. - Досюда дошли! В противогазах! Они вообще куда хочешь дойдут. Хоть до Северного полюса. А?

- Дойдем, дяденька, - соглашался счастливый Михалков.

- Доходяги! - хохотал Иванов.

Официантка закатывала глаза, понимая, что чаевых эти сумасшедшие не дадут. Товарищ Иванов веселел от водки и взятки. Гриневский, Сенников, Михалков, Кунгуров и даже умный Маслов пьянели от еды. Они взяли по четвертой порции, когда товарищ заведующий вошел в зал четким военным шагом, словно только что вспомнил важный факт из своей биографии. В этот момент он был значительно бледнее гипсового памятника перед вокзалом. Отослав официантку, заведующий склонился к Иванову:

- Мы пропали, - сказал он. - Монголы нажрались тушенки и умирают.

- Чего?

- Того! Они отравились.

- Спам, - догадался Иванов. - Американское говно.

- А обвинят нас.

– Вредители!

– Хуже всего, что, кажется, помер их главный. Генерал в таком красивом кителе. Остальные еще живы, но это неважно.

– Вредители! – сказал Иванов. – Нужны вредители. Срочно. Пойдем поищем.

Он выудил из миски самый большой огурец, подмигнул комсомольцам, взял под локоть заведующего и удалился. Кроме умного Маслова, никто из героев не отвлекся от еды.

– Повезло нам, дуракам, – сообщил Маслов товарищам. – Не каждому так в жизни везет.

– А чё? Чё стряслось-то? – чавкая, спросил Михалков. Остальные ели, молча глядя в тарелки.

– Ничего. Ты лопай, лопай. Интересно, что такое «спам»?

– Тебе же сказали, что? это, – вдруг поднял голову Гриневский. – Вредительство. Или повторить? – Он стукнул кулаком по столу зло, но не очень сильно, чтобы не расплескать кашу.

– Спокойно, братан, я слышал.

– Вот и слушай ухом, а не брюхом. И нечего лыбиться! Да, нам повезло. Живем в самой лучшей стране, в самое лучшее время...

– Ага, в обеденное, – уточнил Маслов, не боясь, что его побьют. Всеми овладела сытость. Довольные лица товарищей расплывались, словно отражения в самоваре. Гриневский хотел было грозно нахмуриться, но вместо этого громко икнул.

– Ой! – сказал Гриневский, и все начали смеяться. Веселье безудержно распирало юношей. Сенников поперхнулся горбушкой. По грязным его щекам катились слезы, а из ноздрей во все стороны летели хлебные крошки. Даваясь

хлебом, смехом и внезапно пришедшей мыслью, он просипел:

- Про нас... эта... в газете... напишут!

И не ошибся. Через два дня «Красное знамя», печатный орган горкома партии, сообщило о том, что посвященный 20-й годовщине Октябрьской революции переход в противогазах до станции Тайга успешно завершился. Героев отмыли в бане, после чего секретарь Янкелевич лично пожал им руки.

Они гордились фотографией в «Красном знамени». Маслов, Гриневский, Сенников, Михалков и Кунгуров стояли на снимке плечом к плечу, одинаково одетые и неотличимые друг от друга в противогазах. Сами-то они, конечно, знали, who is who, и тыкали пальцем в газету, небрежно вытащенную из кармана во время танцев: да вот он я – слева. Благодаря этой публикации к ним пришла слава, им открылся вход в женское общежитие, и все они, кроме Маслова, лишились невинности еще до Нового года.

Мы тоже обратили внимание на фото в газете и отметили для себя, что каждый из этих мальчиков с хоботом похож на индийского бога Ганеша, исхудавшего в условиях обострения классово-борьбы. Подтекст был очевиден: СССР нацелился на Индию и собирается вырвать ее из когтей британского льва.

Таким образом мы расшифровывали каждую газетную публикацию. Например, сообщение о внезапной смерти военного министра Монголии на станции Тайга. ТАСС уполномочили заявить, что маршал Демид отравился консервами. Ни один вдумчивый читатель (нас еще оставалось в городе неарестованных около тридцати человек) не поверил в эту историю. Большинство из нас, переводчиков с советского на русский, прочли заметку следующим образом: мясные консервы ни в коем случае нельзя покупать, даже если они вдруг появятся в продаже. Самые проницательные решили, что ТАСС предсказывает войну с Америкой.

О том, что в один из этих октябрьских дней у нас в городе был расстрелян поэт Николай Клюев, мы, разумеется, не знали.

Оттепель

Хорошие люди редко дружат с головой.

Участковый Михалков был хороший сотрудник, но беспамятный. После контузии он жил вне времени, постоянно забывая год-месяц-число, и это ему создавало, конечно, большие трудности при оформлении протоколов. Еще ничего, если ошибался на месяц-другой. Кому какое дело, вышибли инвалиду последний глаз у пивной на Сулеме в мае или июне? Никакой разницы, с точки зрения отчетности. Но ведь бывало, что участкового заносило в далекое будущее, в какой-нибудь 1966 год. И что с таким документом делать? Куда его подшивать?

– Мудило! Фантаст сраный! – кричало на Михалкова начальство районного отделения, которое само порошу не нюхало, потому что было сопливым двадцатилетним лейтенантиком из нового поколения пустоглазых карьеристов, заменивших настоящих мужчин, от которых после войны остались рожки да ножки.

Михалков не любил этих щенков с высшим образованием и хорошим почерком. Хотя дело было не в почерке и не в образовании. Точно также он не любил неграмотных и необразованных, несудимых и несмышленных, недобитых и неженатых, неверующих и несознательных, некрасивых и несерьезных... Список мог бы получиться длинным, как Большая советская энциклопедия. Проще сказать, что Михалков не любил никого. Но не в том смысле, что испытывал ненависть – он просто не имел любви абсолютно ни к кому из живущих. А к кому имел – те были уже не жильцы. Он так и говорил, сидя вечерами на березовом пне у своего подъезда, когда соседи с ним почтительно здоровались:

– Всякое говно живет на свете! Я удивляюсь.

Конечно, его боялись до усрачки. Хотя он почти никогда особо не зверствовал. Бил только по делу – для повышения раскрываемости. А в свободное от работы время считал себя последним хорошим человеком на Земле. Как многие после войны. Как, впрочем, и до нее.

В памяти Михалкова эта война осталась волной земли, накрывшей его в блиндаже в момент телефонного разговора со штабом. Придавленный потолком, он двое суток, пока его не откопали, лежал, прижимая к уху тяжелую эбонитовую трубку. Ухо пришлось ампутировать. С тех пор Михалков, если что и ненавидел, так это – телефоны. Заставить его позвонить было невозможно. Он

лучше сбегает два километра туда-сюда, чем снимет трубку.

С одной стороны, всё это, конечно, странно, а с другой стороны, у них в отделении все были психованные, контуженные, прошедшие через мясорубку. Начальство только и делало, что искало подходы к подчиненным. Когда Михалков однажды заехал в XXI век и датировал протокол 2018 годом, начальство, схватившись за голову, придумало метод:

– Значит, так! – приказало оно. – Утром дома отрываешь листок календаря и кладешь в штаны, отправляясь на работу. Когда составляешь протокол, достаешь листок из штанов, сверяешься и переписываешь. Понял, блядь?

– Понял, блядь! – ответил Михалков, удивляясь тому, что пустоглазые карьеристы могут быть умнее настоящих мужчин.

В тот день он так и поступил, как велело начальство, – оторвал листок и засветил в глаз коммунальному скандалисту Валере, который осмелился вякнуть, что календарь висит на стене для всех, как древо жизни, и нехер его оципывать раньше времени.

– Времени нет, – ответил Михалков, переступая через Валеру, и пошел на работу.

Точнее, в соседний подъезд, откуда вчера поступило заявление, требующее разбирательства и оформления. Михалков спустился со своего четвертого, прошел двадцать метров и поднялся на ихний четвертый, где постучал и, когда ему открыли, представился женщине, которая его, конечно, знала, и он ее тоже, но так было положено, хотя он и не понимал – зачем.

– Участковый Михалков, – сказал он. – Вы Гребенюк Вера Андреевна?

– Я.

– Дата рождения, – он достал из планшета лист бумаги и начал записывать.

Она сообщила ему дату рождения. Немолодая уже.

– Где прописаны?

Она назвала адрес.

- Образование?

- Высшее.

- Вы написали в заявлении, что ваш муж, Гребенюк Андрей Лазаревич, неслучайно упал из окна, а кем-то был вытолкнут с преступным умыслом. С чего вы это взяли?

- Подозрительно это, - сказала Гребенюк. - Он никогда не падал из окна, а в тот день упал и разбился. Я хотела, чтобы вы разобрались...

- Пройдемте на место происшествия.

Она повела его в кухню, указала на подоконник:

- Вот здесь это было.

- В котором часу?

- Вечером.

- Точнее.

- Не могу сказать. Сама я в тот момент была на работе, я в школе работаю.

- Что вы делали в это время? - спросил Михалков и подумал, что сам бы никогда не ответил на подобный вопрос.

- Вела собрание, посвященное распространению облигаций. В прошлом месяце коллектив не выполнил план по подписке на заем.

- Так. Дальше.

- Дома была дочь. Муж забрал ее из детского сада, привел домой и решил помыть окно в кухне. Был выпивши.

- Откуда вы знаете?

- Он каждый вечер был выпивши.

- Зачем он пьяный после работы полез мыть окно в кухне?

- Он давно хотел. Всё говорил: весна, оттепель, а стёкла такие, что ничего не видно.

- Почему его это волновало?

- Не знаю. У пьяных так бывает - чистоты хочется. Скандалил, требовал, чтобы я помыла, а я боюсь высоты.

- Много пил?

- Каждый вечер после работы шел с дружками в пивную. Да вы же знаете, сами видели.

- Я сейчас ничего не знаю, я на службе. Рассказывайте.

- Да что рассказывать! Стыдно. Таскался по пивным и дочь таскал, она ему пену с кружек сдувала. А потом явится домой и кричит: «Оттепель! Окно не мыто!» Я ему говорю, что у меня страх высоты - голова кружится. А он не терпел, чтобы ему возражали. Сразу начинал дрожать и выгибаться дугой. Так страшно было...

Участковый записывал из последних сил, чувствуя, как пальцы его начинает сводить судорога. Обычно спазм наступал к концу первой страницы, поэтому он не составлял длинных протоколов: бросал карандаш и орал на протоколируемых «короче!».

- Короче! - заорал Михалков, бросив карандаш на пол.

Гребенюк испугалась.

- Что?

- Муж, говоришь, выгибался?

Теперь, без протокола, можно было ей не выкать. Не уберегла мужика, училка. А мужик-то хороший. Все мертвые люди, в глазах Михалкова, были хорошими.

- Дугой выгибался? - переспросил он.

- Да.

- Вот так?

И сам выгнулся дугой.

- Именно так, - подтвердила Гребенюк. - Вы тоже после контузии?

- Вопросы здесь задаю я.

- Извините.

- Оттепель, значит?

- Да, оттепель.

- А где ребенок?

- В садике.

- Кто в квартире?

- Никого.

- Свидетелей, значит, нет. И тогда не было?

- Только дочь. Она сказала: когда папа упал, в коридоре хлопнула дверь, как будто бы кто-то поспешно заскочил к себе в комнату.

- Какая дверь?

- Вон та, средняя.

- Ну, пойдем посмотрим.

Схватив Гребенюк за руку, он потащил ее в коридор, к двери, на которой висел большой замок.

- Откройте, милиция! - крикнул Михалков в дверь и засмеялся.

- Ой! - сказала женщина. - Вы что?

- А вот что.

Он схватил ее за плечи и, прижав к двери, коленом раздвинул ей ноги. Навалился на нее всем телом, штаны, точнее галифе, расстегивать не стал. Зачем? Хер у него не фурычил с войны, с того телефонного разговора, но это было неважно. Мощно двигая задницей, вдавливая пряжку со звездой в неподатливый костистый лобок училки, зажимая ладонью ее рот, глядя в перепуганные глаза, Михалков механически повторял:

- Оттепель, оттепель, вот тебе, вот тебе.

Потом ему надоело, он остановился и выпустил ее. Женщина сползла по дверному косяку на пол, противно дыша разинутым ртом. Михалков собирался перешагнуть через нее и покинуть квартиру, но вспомнил, что должен еще датировать протокол, будь он неладен. Вытащил из кармана штанов помятый листок календаря. Посмотрел - 31 мая 1950 года. Ну и что? Эти цифры ему ни о чем не говорили.

Жалко

Папа читал книгу. Мама мыла раму. Весенний свет наполнял ее платье с красивыми ногами внутри, и тонкий лучик солнца проходил между маминых ног и падал в сковородку с яичницей и колбасой, весело шкворчащей на плите. Приближалось время завтрака. Костик чесался и скучал.

- Мне жалко! - сказал он.

- Кого? - буркнул папа, не отрываясь от книжки с толстым человеком на обложке, на голове у которого, как трава, зеленела фуражка, надетая козырьком назад. Человек улыбался до ушей.

- Мне, - попытался объяснить Костя. - Жалко. Свител.

- Какой Витя? - зевнула мама. Он не дал им вкусить заслуженного субботнего отдыха, с восьми утра прыгая у них по животам, заставляя сгибать под одеялом колени, чтобы получились горы и холмы.

- Свител жалкий! - расстроился Костя и пошел от них прочь по коридору. Они засмеялись у него за спиной. Чем же я виноват что не могу сказать этой буквы даже написать ее могу а сказать нет. Вот сейчас пойду и напишу. Из комнаты бездетных соседей-подселенцев грянула песня «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром рано!». У них был проигрыватель и мягкие синие пластинки, а у Костиных родителей только небольшой телевизор, который пел хорошие песни, когда хотел, а соседи веселились сами «всю дорогу» - это мама так говорила.

Коридор был такой длинный, что к концу пути Костя всегда забывал, зачем шел в комнату. Упал на диван, покрытый клетчатым пледом с кисточками, и повалялся немного, но без удовольствия. Спину и живот колот мохеровый свитер: мама боялась сквозняков. Было скучно. Костя сполз на ковер и заглянул под шкаф, чтобы проверить, нет ли там мышки, которая иногда выходила на прогулку из-за желтого чемодана с медными языками, давно не желавшими закрываться, сколько Костик ими ни щелкал. Мама на него сердилась и запрещала ему это делать, говорила, что он сломал чемодан, а папа всегда за него заступался, напоминая, что вообще-то с этим чемоданом мама приехала после школы поступать в институт, и довольно странно винить ребенка в том,

что время идет, вещи портятся, и пора бы уже просто выбросить старье на помойку. «А может, и меня тоже пора выбросить?» – вскрикивала мама, и они начинали ругаться, забыв, с чего начался разговор. Мышки под шкафом не оказалось.

Костя подошел к окну, вытер нос о красную штору и посмотрел на улицу. Мартовский сугроб, весь в морщинах и складках, напоминал бабушку, которая иногда приезжала к ним в гости на поезде из своего далекого прошлого и рассказывала страшные сказки про декабристов, повешенных за шею на главной площади Ленинграда. Небольшая собака, отведя заднюю ногу, как балерина из телевизора, писала на сугроб. Костя вздохнул и опять поплелся на кухню, где мама, стоя за спиной у папы, медленно гладила ему волосы. Папа курил трубку и улыбался. Когда Костя вошел, мама вернулась к плите, чтобы помешать кофе дезертировать из джезвы.

Сыну она велела садиться кушать, а мужу сказала, чтобы не дымил при ребенке. Хотя дым от трубки был вкусный, колечки – красивые, и Косте куда больше нравилось нюхать, как курит отец, чем ковырять вилкой скользкий треугольник яичницы.

– Можно, я пописаю? – сказал он.

– Это твое конституционное право. Так что – не спрашивай, – ответил папа.

В туалете Костя потянул колготки вниз и обнаружил, что его пися цепляется за резинку трусов, твердая, как карандаш. Совсем в детстве он этого пугался и звал родителей на помощь криком «большая пися!». Но родители только хохотали как дураки, а помочь ничем не могли. Тут он вспомнил о том, что собирался написать трудную букву, натянул колготки и побежал в комнату. На подоконнике, за красной шторой, лежали мамины разноцветные карандашики для красоты. Костя выбрал черный, лизнул скользкий кончик, как обычно делала мама, рисуя себе глаза, и, раскрыв на последней странице англо-русский словарь, принадлежавший папе, принялся за работу. Провел сверху вниз прямую линию, потом две косые, и получилась буква К. Дальше дело пошло быстрее. О, правда, вышла квадратная, не как у мамы, а Д мало отличалась от А, но главное было побыстрее добраться до противной буквы. Добрался, закончил, побежал к родителям, по дороге вспомнил про восклицательный знак, вернулся и нарисовал его. Влетел на кухню, снова нарушив родительское уединение, и предъявил свой труд. Он гордился написанным, ему нравилось, что буквы Р

возвышаются над остальными буквами, словно флаги над забором. Первой читала мама. С недовольным видом, как показалось Косте, она передала словарь папе.

- Вот это да! - воскликнул отец. - Как это предусмотрительно - составить завещание в четыре года. «Кагда я умру пахаРаните меня ва дваРе!»

Он засмеялся, мама тоже засмеялась облегченно, как будто папин смех был объяснением всего, что она не могла понять.

- Костик, так тебе в свитере было жарко? - спросила мама.

- Угу.

- Так иди же во двор, погуляй, - обрадовался папа и подмигнул маме.

- «Погуляй!» - передразнила его мама. - А кто будет собирать ребенка на улицу? Опять я?

- Ну, давай я, - сказал папа. - А где его штаны?

- Ну вот, - вздохнула мама. - Так я и знала. «Где его штаны». Всё на мне, да? А ты книжки читаешь.

- Вообще-то у меня осенью защита.

- И поэтому ты не можешь собрать ребенка на улицу?

- Конечно, могу. Просто скажи, где лежат штаны?

- А также свитер, шапка, варежки, шарф, валенки и шуба! - с каждым словом мамин голос повышался на один тон, и в конце она воскликнула: - Где-где? В Караганде!

- Неправда! - закричал Костя. - Штаны на батарее!

Они посмотрели на него с удивлением, большими глазами, как будто не верили своим ушам.

- Ты слышал? - спросила мама.

- Да, - ответил папа. - Я слышал.

- Он сказал «Р»!

- Отчетливо.

- Без всякого логопеда.

- Он молодец!

- А мы с тобой дураки.

Буква их примирила. Весело смеясь, они кинулись одевать Костю вдвоем. Процесс оказался долгим, как сборы космонавта в открытый космос.

Теперь и не вспомнишь, состоялся этот выход во двор тем же днем или годом позже. Все мартовские прогулки (и прогулки в первой половине апреля), пока дворник не сокрушал упрямые, в тени дома укrywшиеся сугробы, превращая хоженое пространство в Венецию, очень похожи. Иногда только во двор забегала незнакомая собака, да еще заборы становились меньше (не потому, что вырастали герои, как мог бы подумать проницательный читатель, а потому, что не выдерживали ежедневных штурмов и покорений, теряли доски и кренились).

Наскучив себе прыганьем в снег с верхотуры деревянной бельевой сушилки, мелкий народ собрался возле газовой ограды. Внутри стояли серебристые, как ракеты на старте, приземистые остроконечные бочки, от которых пахло тем же, чем и дома от плиты, если, вертанув кран, не сразу поднести спичку к железному грибу с дырчатой шляпкой (строго запрещалось!). Стоять там было здорово и тревожно. Рассказывали, что в одном дворе, на другом конце города, трех мальчишек убило взрывом, потому что они КУРИЛИ около этой штуки, а сама штука, взорвавшись, взлетела до третьего этажа. Возможно, поэтому беседовали о смерти и дальнейшей судьбе человеческого тела.

– Я не хочу в крематорий, – заявил Васька, самый старший среди присутствующих, о котором было известно, что ему уже купили ранец и красный пенал. – Я лучше в могиле еще полежу после смерти.

– А тебя червяки есть будут! – возразили ему.

– Ну и пусть едят, – ответил Васька. – А тебе сколько лет?

– Шесть, – сказал тот, который выступал за крематорий.

– А тебе? – повернулся к Костику Васька.

– Пять! – ответил Костя, а про себя добавил: «будет».

– Ты, значит, на год позже умрешь, – сообщил Васька.

– А что потом? – спросил Костя.

– Как что? Лежать будешь в гробу, родители весной придут, цветы будут сажать и плакать, – голос Василия зазвучал уверенно – он почувствовал тему. – Ты тоже будешь плакать в гробу, но они тебя не услышат...

Кто-то из участников собрания с воем побежал в сторону родного спасительного подъезда.

– Нет, – ответил Костя. – Врешь ты всё!

С Васькой они подрались – тогда и из-за этого, или в другой день и по другому поводу, но закончилось плохо: старший спихнул младшего в овраг и окатил сверху струей теплой мочи. Потом подрались их мамы, визгливо и страшно, на площадке перед дверью Васькиной квартиры, откуда доносился рев наказанного Васьки. Потом пришло письмо от бабушки, в котором она утешала Костю, что его вообще-то могли «измазать какушками», но этого не случилось, а значит: ничего страшного – жизнь продолжается. Потом у Васьки умер отец, и за две бурундийские марки Костя ему всё простил.

Однажды в середине апреля, время как будто решило вернуться к Новому году: ушла весна, повалил снег, красная жидкость в законном градуснике упала ниже нуля. В субботу папа встал одновременно с Костей, похихикал на кухне над книгой, а затем велел доставать из кладовки лыжи. Мама сначала испугалась, но, узнав, что ее не берут, постучала три раза ножницами по батарее, и, когда Костя с отцом уже стояли на пороге, в дверь ввалились соседки сверху, вооруженные толстыми журналами про моду. Ничего страшнее такого времяпрепровождения Костя себе представить не мог.

Поскольку они жили на окраине города, до природы было совсем близко. Они встали на лыжи, пересекли речку, так и не успевшую вскрыться ото льда. Забрались на горку и начали кататься сверху вниз. Костя упал три раза, а один раз даже ударился эффектно о заснеженную березу. После чего заскучал и обратился к папе с предложением: давай играть в бога нет. По правилам игры, придуманной отцом в прошлом году (он сдавал кандидатский экзамен по философии), Косте сначала полагалось быть атеистом, а потом наоборот – верующим. Вторая роль ему больше нравилась, так как позволяла говорить елейным голосом, а выражением лица подражать смешному актеру из старого фильма «Праздник святого Йоргена», который часто крутили по телеку.

– Если бог есть, – торжественным голосом сказал папа-атеист, – пусть он покарает меня за то, что я в него не верю!

– Он покарает, непременно покарает! – обещал сын, иезуитски (это слово приводило в восторг) закатывая глаза.

– Если бог есть, пусть он сломает мою лыжную палку, – вскричал папа и погрозил высокому синему небу. В этот момент из леса выехали две немолодые лыжницы. Первая удивленно застыла на месте, вторая врезалась ей в спину, и обе полетели с лыжни, как громом пораженные.

– На сегодня хватит, – решил папа. – Мама к обеду ждет.

Костя сильно сомневался, что занятая модными журналами мама хватится их раньше вечера, но спорить не стал, к тому же субботний обед вполне мог закончиться выдачей «птичьего молока». Не исключено, что во время того обеда, именно тогда, было принято решение ехать летом на море, чтобы ребенок оздоровился. Так мама сказала. Ее слова, Костик это давно заметил, – обладали

волшебной силой: они превратились в розовые билеты, в новый чемодан, в синие ласты, маску и трубку, делающие обычного человека водоплавающим.

Прошло какое-то время, и наступил день отъезда. Исчезло всё знакомое – двор, забор, собаки. Но из-за того, что в купе сидели мама с папой, да еще увязалась с ними бабушка (Костя подслушал, что ее брать не хотели, но она дала денег), он чувствовал себя в поезде как дома. Пока взрослые шлепали картами по одноногую столику, Костя нарочно падал с верхней полки или заползал в пещеру для белья над входом и, дождавшись чьих-нибудь шагов в коридоре, громко кричал сквозь железный потолок в макушку неизвестного. Все трое родителей внизу вздрагивали и забывали, кто с чего ходил. Чтобы ребенок не буянил, его тоже обучили в дурачка. Он, разумеется, стал проигрывать, особенно маме, которая вынуждена была прятаться от него в туалете. Он бил кулаком по двери и горестно вопил: «Нет, я выиграл! Я умный!» На крик его скоро пришла железнодорожная тетка в синем, проводница, имеющая на груди серебряное колесо с крыльями, и сказала Костику, что сейчас вызовет милицию, которая на ближайшей станции передаст его в детский дом для малолетних преступников. Тут же из туалета, как черт, выскочила мама и закричала на тетку, чтобы она не смела страшить детей. Тетка закричала на маму, что раз та не умеет детей воспитывать, то пускай этим занимается милиция. А то распустились, громко сказала тетка, мальчик-то, похоже, психованный, его лечить надо. После этого мама внезапно и горько заплакала. Тут же из купе в коридор вышли папа и бабушка, а также другие пассажиры, из других купе, и все они говорили, что так нельзя. При этом одни имели в виду проводницу, а другие – Костика и его маму. Первых других оказалось все-таки больше. Папа сказал, что сейчас напишет жалобу на злые слова проводницы, и многие пассажиры закивали и сказали, что подпишут жалобу своими именами. «Писатели!» – ответила им проводница с колесом с крыльями с невероятным презрением в голосе и куда-то ушла, и больше ее Костик не видел.

А потом все увидели море, для переправы через которое вагон прицепили к настоящему паровозу, который, пыхтя, потащил их на паром, и Костя мигом забыл о карточном горе и диком скандале и умудрился, выглядывая из окна, испачкать лицо черным дымом. «Кочегар! Кочегар!» – дразнили его снизу родители, которые тоже обо всем забыли при виде моря, где они были всего по одному разу, в своем детстве, когда мальчики и девочки одевались одинаково – красные галстуки и синие шаровары.

Море, поданное прямо к столу пляжной столовки, не понравилось.

– Слишком большое! – вынес приговор Костя.

– Да ты просто плавать не умеешь, – засмеялась мама глупо, как девочки в детском саду.

– Я много чего не умею. И что? – с вызовом ответил он.

– А умел бы плавать, – вмешался в разговор скрытый под огромными черными очками папа, – дернул бы в Турцию. Триста километров. Рядом.

– Ты чему ребенка учишь, Петенька? – забеспокоилась бабушка. – Ведь так возьмет – и уплывет.

Страхи старухи оказались напрасными. Отвезенный при помощи надувного матраса на двадцать метров от берега ребенок запричитал так тонко и жалостно, что всему побережью показалось – в море проходят образцово-показательные деревенские поминки. «О-о-й, дяденьки-тетеньки, – выл Костя. – Меня папа утопить хочет! Спаси-и-и-те!»

Для успокоения и общего развития его повели смотреть на дельфина по кличке Малыш, который высовывал из воды добрую морду-бутылку, брал зубами протянутую девушкой в купальнике малярную кисть и оставлял на куске ватмана разноцветные следы. Зрители пили пиво и хлопали.

– Надо же, – сказал папа. – Дельфину можно рисовать абстрактные картины, а советским художникам нельзя!

После представления Костя не хотел уходить, ему очень понравилось смотреть на красивую девушку, которая в своем купальнике была совсем, как голая.

Но сильнее всего на море ему понравилась пушка, уничтожившая, как рассказал экскурсовод, огромную массу турок, французов и англичан, которые в старые времена в больших количествах приезжали к нам на юг отдыхать, и все были убиты из пушки – никого не осталось. Пушка стояла на каменном постаменте, черная, сухая и теплая, словно нос больной собаки, которую мама притащила домой в начале весны. Собака по кличке Махно попала под машину и жила у них в коридоре, пока снова не научилась ходить.

– Ты любишь пиво, а я животных! – заявила мама, когда отец ей сказал, что дворовому псу место во дворе.

– Лучше бы ты людей любила, – хмыкнул отец и ушел в институт, откуда вернулся поздно, с сильным запахом хмеля в усах.

Костя тогда расстроился, ему показалось, что пьяный папа – какой-то не такой, какой-то другой. Он прямо так папе и заявил.

– Не исключено, малыш, – согласился папа и, в порыве пивного вдохновения, рассказал сказку про другого мальчика, которого тоже зовут Костя: – Только он, – сказал папа, – просыпается ночью, когда ты ложишься спать, в далекой стране, где люди умеют летать. Поэтому тебе снится, что ты летаешь.

– А когда через сто лет я умру, – подхватил сын, – где-то проснется великан, который просто спал всю мою жизнь. Проснется и пойдет в детский сад.

– Да, – кивнул папа, зевая. – Именно в детский сад. Куда ж ему еще идти?

И вдруг – когда уже почти всё в жизни стало понятно – случилась катастрофа (учил наизусть три дня). Кончился детский сад. Совсем кончился.

Воспитательница сказала, что теперь они большие. Соседи-подселенцы совсем уехали на грузовике – забрали проигрыватель и занавески. Мама и папа начали делать ремонт в квартире. И поначалу это было весело. Шуршали рулоны обоев, деревянный пол бывшей чужой, а теперь их собственной комнаты превратился в коричневое пахучее зеркало. Костя, конечно, не удержался и отпечатал в одном месте ладонь.

– Идиот! – неожиданно и обидно закричала на него мама. – В этом доме одна я руками умею, а вы все всё только портите. Мужики хреновы!

Костя хотел загордиться, что его называют мужиком, но от тех слов, что долетали с кухни, а потом еще там что-то разбилось, испугался так, словно два взрослых человека вдруг перестали притворяться его родителями. Папа ушел с галстуком в руке, прижимая к животу пишущую машинку. А мама кричала ему вслед обидные слова – «ученый» и «бабник». Закрыв дверь, она села на диван, рядом с Костей, и начала плакать, мучительно долго – минут десять, так что Костя устал ее слушать и принялся утешать.

– Одно из двух, – сказал он. – Или я сейчас тоже заплачу, или буду тебя щекотать.

Отец возвращался потом много раз. Но Костя видел, что это уже понарошку, так как трубка и пишущая машинка исчезли.

Школа принесла ему мало радости: глупых девочек еще больше, чем в детском саду, а когда принимали в октябрята, учительница до крови поцарапала ему грудь иголкой значка сквозь рубашку. Зато появился новый друг – Андрей. «Представляешь, – сказал он Косте. – Чарли Чаплина украли из могилы». Оба согласились, что иметь дома гроб с Чаплином было бы весело. Андрей завязывал Косте шнурки после физкультуры. Этому искусству Костя обучится несколько позже. К сожалению, друг вскоре покинул школу, переехал с родителями в новый район, где все пацаны, как он поведал, однажды появившись у Кости дома, носят в кармане ножики.

Однажды весной Костя шел в школу по бордюру, размышляя о том, что родители Андрея пьют друг с другом вино и счастливы, а его интеллигентные – не пьют вместе, и, может быть, поэтому друг друга видеть не могут. Тут его ноги соскользнули с бордюра, и он горизонтально погрузился в холодную лужу. Столь внезапный контакт с водой был Костиком достигнут впервые. Он плыл на спине, прямо в школьной форме, не понимая ничего, а две девочки из его класса смеялись над ним, как над Чарли Чаплином. В следующий момент вместо того, чтобы расстроиться, он почувствовал себя очень хорошо. Потому что грусть жизни возникает, когда ходишь, как трамвай, по одному маршруту, двумя ногами – из дома в школу и обратно, и везде женщины заставляют тебя скучать. Зато как далеко можно уплыть лежа! Как только он это подумал, чья-то сильная рука достала его из лужи, как носовой платок. Он увидел бороду, заслонившую полнеба, веселые глаза и черное платье, в которое был одет настоящий священник.

– Чудны?е у тебя воды крещения, отрок, – улыбнулся спаситель. – Ты, видно, любишь витать в облаках. Беги теперь к матушке сушиться, а то на урок опоздаешь.

Священник выловил из лужи Костину кепку и заспешил к трамвайной остановке, шевеля мокрыми пальцами, как хирург. Он очень понравился Косте, который еще не встречал людей одновременно сильных и добрых. Так что, когда ели

ужин, он предложил маме сходить в церковь. Но мама, сурово покосившись на бабушку, ответила, что ЦРУ тратит большие деньги на разложение советских людей, заставляя их венчаться и креститься.

– Трупы разлагаются, – выпалил Костя. И ему, как обычно, было приказано не умничать.

Приблизительно в то же время сделался склонен к чудесному. Просил у бабушки, которую сопровождал в магазин, разрешения съехать разок с небольшой радуги, упирившейся сладким на вид концом прямо в землю за кинотеатром «Дружба». Другие ребята катались – он сам видел. Бабушка с испугу доложила об этом маме, которая, педагог хренов, немедленно расшумелась: «Ты свихнешься к шестнадцати годам! (Это когда еще будет, подумал Костя.) Не смей сидеть один и думать!»

Чтобы спасти ребенка от вредного одиночества, его отдали в группу продленного дня, где упражнялись в написании слов «мама» и «рама» в тетради, а «жопа» и «хуй» – на заборе, и подглядывали, как ходят в тубзик училки – по наущению более развитых оборотов. И являлся там, как из другого измерения, отец его, на вид не совсем такой, как при жизни их совместно с мамой, приносил с собой книги из библиотеки зарубежной фантастики, показывал на школьном дворе чудеса: горящее железо по имени магний и оранжевую соль, рождающую от небольшого удара гром офигенный. И спрашивали Костю соученики его: кто этот зыканский дядька? И придумывал им разные враки, потому что не знал, как правильно ответить на этот вопрос.

Смущенный нелепостью происходящего, Костя начал догадываться, что дальше всё будет еще скучнее, и однажды решил, что так жить нельзя. Точнее сказать, это случилось после того, как к ним навсегда переехала бабушка, на которую мама возложила задачу защиты ребенка от всех напастей окружающего мира, в первую очередь – от отца. Бабушка встречала Костю у дверей школы и за руку конвоировала его домой. В спину им хихикали друзья-хулиганы, чьи родители давно (по их рассказам) зарезали своих родителей, и теперь мотали срок или скрывались от правосудия. А их дети сами возвращались из школы домой. О, счастливики!

Школу полукольцом окружала трамвайная линия. Немало пятаков было расплющено в блин на этих рельсах. Зимой у трамвая вырастал цигейковый хвост из смелых детей, которым Костя завидовал. Иногда особенно меткий

вагоновожатый располовинивал кошку. Но школьника – еще ни разу.

Перед линией бабушка замирала, как статуя, предостерегающе подняв руку, а потом, убедившись, что трамвай не видно на горизонте, давала отмашку. В тот весенний день трамвай приближался стремительно, разбрызгивая в обе стороны серую воду, и бабушка отступила на шаг, чтобы уберечь от брызг единственное пальто. На мгновение она ослабила бдительность, и Костя выкрутил свою кисть из ее ладони, как шуруп из старой рассохшейся доски. Освободился и без разбега прыгнул вперед. Время так удивилось, что встало как вкопанное. Воздух словно остекленел. Трамвай надвигался медленно, со скоростью капли варенья, стекающей со стола. Костя проплыл перед его круглым вишневым носом с тремя белыми цифрами, как невесомый листок, успев хорошо рассмотреть испуганное лицо вагонной вожатой, которая дергала за веревку, отчего тревожно верещал звонок между рогами трамвая. Звонок на урок, подумал Костя, вот только не знаю, как называется этот предмет? Он задумался, и воздуху стало тяжело его удерживать. Воздух расступился, Костя упал в грязь в одном шаге от рельса. Неизвестная тетка подбежала, схватила за ухо и потащила куда-то, наверное, в детский дом для малолетних преступников. Но это уже было неважно: он оказался на другой стороне, где никто его не достанет.

Мастера современной прозы

Его звали Ибрагим. Он был моим старшим товарищем. Когда мы познакомились, ему было двадцать два года. Он заканчивал университет и серьезно пресытился жизнью. Он рассказывал мне, что в верхнем ящике его письменного стола всегда лежит намыленная веревка со скользящей петлей. Ибрагим говорил, что примеряет ее перед сном. Мне в то время было восемнадцать. Я боялся смерти и повесток из военкомата.

Ибрагим писал стихи. Мне вспоминается один нервный верлибр, где автор сравнивает лампочку без абажура с проституткой. Стихотворение называлось «Голый свет».

Маменька Ибрагима, не помню, как ее звали, была профессиональным сторожем – она работала в ВОХРе. Поэтому через два дня на третий их маленькая квартира освобождалась для приключений. Чаще всего это были приключения духа. Мы

пили разбавленный спирт и говорили о женщинах.

- Ты уже потерял невинность? – спрашивал Ибрагим.

- Потерял.

- Это хорошо. Жаль, что ее можно потерять только один раз.

- Ну, в первый раз у меня не получилось...

- Главное, чтобы получилось в последний раз. Ты читал трагедию Коли Пальцева «Последний fuck Кафки»?

- Нет еще. А кто такой Кафка?

Я обманывал старшего товарища: невинность оставалась при мне.

Пьянствуя, мы слушали виниловые пластинки. Ибрагим гордился своей коллекцией фирменных лонгплеев и сорокапятков. «Здесь муха не еблась!» – говорил он, торжественно доставая из конверта черный блестящий диск. И я невольно представлял себя этой мухой, парящей над девственной пустыней винила, начиненного музыкой и радостью. Уровень громкости выводился на максимум. Мы выпивали еще по стакану алкоголя, и тогда Ибрагим начинал орать, перекрикивая музыку.

- Я хочу вонючую еврейскую принцессу! Хочу маленькую китайскую девочку!

От спирта черты его лица заострились, он становился похож на ежа, на маленького ежа-татарина с умными глазами. Мы закусывали холодными макаронами.

Потом мы играли в карты. Ибрагим закуривал папиросу, я тоже закуривал с видом заядлого курильщика, и меня начинало тошнить, как девочку. Сидя на диване, я равнодушно смотрел, как мой буйный товарищ размахивает столовым ножом у меня над головой.

- Сейчас перережу тебе горло от уха до уха!

Они жили в двухэтажном деревянном бараке с замшелой крышей и грязными окнами, где пили все, за исключением матери Ибрагима.

С похмелья старики играли в домино. Игра начиналась рано утром, в любую погоду. Старики ставили табуретки и растопочные чурки вокруг огромной мясницкой плахи, иссеченной топором. Когда-то эта штука стояла на центральном рынке – кто-то из доминошников до пенсии был рубщиком мяса. Теперь они забивали виртуального козла, и в жаркие дни, когда от ударов костяшками, казалось, дрожал сам воздух, плаха вдруг начинала испускать душный аромат давней убоины.

В начале лета спирт закончился.

Ибрагим писал диплом, а через два дня на третий встречался с глупой, но симпатичной девицей моего возраста, которую звали Вика. «Жопа – объедение!» – говорил он, закатывая глаза.

Год выдался жарким. В палисадниках расцветали яблони и груши. С улицы просилась в мороженое сирень. Как-то душным июньским вечером мы ели ананасы в шампанском: бросили в эмалированную кастрюлю ледяные кубики вьетнамских ананасов и залили их бутылкой новосибирской шипучки. Мы – это Ибрагим, Вика и я. Мой друг декламировал стихи Игоря Северянина и Мирры Лохвицкой, непрерывно оглаживая ноги предмета своей страсти.

– Сколько у тебя волос на ногах, – говорил он нежно. – Это потому, что ты еврейка, душистая еврейская принцесса.

– Что же мне их теперь, брить? – спрашивала предмет.

– Ни в коем случае! Это ужасно красиво – почти как у меня.

Он закатывал левую брючину, демонстрируя извилистую и волосатую, словно у зайца, голень.

– А у тебя волосатые ноги? – поворачивался Ибрагим ко мне.

Я стеснялся говорить о своих ногах. Мне казалось, что нет на свете человека с более дурацкой походкой. Я старался ходить красиво, не шаркая каблуками, не вскидывая высоко носки обуви своей, и поэтому двигался, как деревянный мальчик из школы для дураков. Субботние дискотеки первого курса были мучительны. Выбрав в темноте партнершу, я знал, что через минуту или две обязательно наступлю ей на ногу. И напряженно молчал, ожидая, когда это произойдет. «Извините, – говорил я. – Это у меня после госпиталя». Тонкий намек на участие в каких-то боевых действиях. Травмированная девушка обычно пропускала его мимо ушей и сматывалась из моих объятий. Один раз мне ответили: «Что ж вы не долечились?», и еще помню злобную реплику: «Вынь пулю из головы!».

– У них нет воображения, – говорил Ибрагим, когда я жаловался на свои неудачи. – Зато у них есть кое-что получше. Правда, Ника? – он засовывал руку между больших ляжек лениво лежащей на диване Вики. Девушка смеялась.

– Почему Ника?

– Потому что Виктория – это клуб... – язык Ибрагима исчезал у нее во рту, – ...Ника, она же Победа, богиня без головы. Зачем ты носишь на титьках эту сбрую?

«I have been in You, baby» – глумился надо мной Ф. Заппа из высоких колонок. Окно было распахнуто, но цветущая яблоня и пестрая ситцевая занавеска скрывали нашу оргию (мое участие – мысленное) от взоров бывших бойцов скота. Эти морщинистые мясорубы курили «Любительские» папиросы, которые воняли еще хуже, чем «Беломор» Ибрагима. Я сидел на ковре, глядя в тарелку с размокшими ананасами, замороженный, не в силах ни уйти, ни посмотреть в тот угол, где скрипел диван.

– Перестань! – просила Виктория. – Что ты издеваешься над своим другом?!

Она казалась мне ангелом; подняв голову, я видел что-то розовое, пышное, как тесто, которое девушка сердито обеими руками упрятывала в платье.

– Ягодка! – смеялся Ибрагим. – Пусть мой друг унаследует мою изощренную сексуальную технику. Тебе жалко? Пусть его девушки будут визжать от удовольствия, как ты это делала третьего дня, моя волосатая свинка.

– Я уйду, – грозила Виктория.

– Ну, уходи, но знай: как только ты повернешься ко мне спиной, я пну тебя ногой по жопе.

Пнуть! О, Господи! Да хотя бы увидеть ее один раз без покровов... Тогда девы еще не носили стрингов, не обнажали публично пупков. Зато они редко брили подмышки. Случалось, что какая-нибудь одна становилась рядом в общественном транспорте, поднимала руку, чтобы держаться за поручень, и взгляду открывался кустик волос на краю нежной впадинки. Какая это была работа для воображения! «То, что вверху, подобно тому, что внизу», – думал я. И моментально возбуждался, дикий юноша эпохи загнивающего социализма. Подмечая родинки, волоски, припудренные прыщики, считая веснушки на плечах рыжих купальщиц (пляжи – это безумие), я загадывал: вот сколько будет у меня женщин – пятьдесят, шестьдесят...

– Всего-то? Смешно! Только в весенний семестр мы с Колей Пальцевым трахнули четыре комнаты на химфаке. Где-то жило четверо, где-то пять... – Ибрагим подсчитывал на калькуляторе. – Берем в среднем по четыре целых и пять десятых тетки, умножаем... делим на два... Вот – получается девять. А ты говоришь! Надо ставить великие цели.

Когда я начинал застенчиво мечтать о ежемесячной смене партнерш, Ибрагим снисходительно хмыкал.

– Разве что для начала. Пока наберешься опыта, отточишь технику. А потом, я думаю, нормально будет тараканить трех... ну ладно, двух теток в неделю. Грубо считаем, что в году пятьдесят недель, кладем пятьдесят лет половой жизни... – Ибрагим вдохновенно давил на клавиши калькулятора. – Итого – ровно тысяча женщин.

– Ты гонишь!

– Простая арифметика.

– Какие пятьдесят лет?! Ты хочешь сказать, что это бывает до пенсии?!

– А ты как думаешь, если твоя бабушка не разговаривает с тобой о сексе, – это значит, что она не трахается с дедушкой?

Сочетание слов «бабушка» и «трахается» было революционным. Сознание отказывалось рассматривать такую возможность. Оно, сознание, защищалось пионерскими доводами, мол, портрет дедушки висит на аллее трудовой славы, благородная седина, орден Ленина... Неужели мы предположим хотя бы на минуту, что этот заслуженный человек, ветеран войны, может сексуально посягать на мою бабушку, заслуженного учителя, ветерана тыла?

– Ей шестьдесят пять лет! – отчетливо произносил я и глядел в глаза Ибрагиму, чтобы он прочувствовал абсурдность своей гипотезы.

– А дяде Коле – шестьдесят семь, и он ко всем бабкам в нашем доме пристаёт. Сейчас мы спросим у него, – Ибрагим, высунувшись в окошко, кричал. – Дядя Коля, есть вопрос!

Один из доминошников медленно, как во сне, оборачивался на зов. Мать честная! У него было малиновое блестящее лицо с бесформенным багровым носом, редкие, какие-то бесцветные волосы, а главное – зоб, который вываливался из расстегнутого ворота рубахи и был похож на кусок свежего мяса, носимый пенсионером в память о днях трудовой славы и доблести.

– Дядя Коля, ты сексом занимаешься? – интересовался Ибрагим совершенно каким-то светским тоном. Я в этот момент сжимался от стыдливого ужаса, ожидая начала страшного скандала, криков, драки, крови.

– Чё тебе? – переспрашивал малиновый игрок, поглядывая на зажатые в горсти костяшки.

– Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу роскошным упиться телом, – объяснял Ибрагим не своими словами. – Тебе хочется упиться роскошным женским телом?

Я надеялся, что игрок не поймет, но не тут-то было.

– Ибаться? – дядя Коля привставал со своего места с какой-то устрашающей готовностью. Старики хохотали.

– Он молодой-красивый, он хочет. А кто ж не хочет? – гомонили старики. – А у него сухостой. Ему его не дает, говорит, уйди, кобелина проклятая! Сами слышали.

Дядя Коля матерно рычал на ехидных. Он так сердился, что я представлял их куриные шеи на доминошной плахе и заслуженный умелый топор в его руках. Удар – и нет головы. Еще удар – и конец страстям старости.

Вечерело. Дядя Коля являлся под окно Ибрагима с табуреткой и авоськой одеколону «Русский лес». Ибрагим радушно выставлял на подоконник три граненых стакана, кусок сала, комок слипшихся ирисок.

– Воды плесни, – учил его дядя Коля. – Будет от бешеной коровы молочко.

Разведенный водой одеколон клубился в стаканах, как густой утренний туман. Я пробовал этот напиток впервые, он оказался нестрашен: разбавленный, был не хуже «Советского» шампанского, входил легко, без тошноты, только через минуту после глотка у меня отнимался язык. Я кивал головой и тихонько мычал, слушая речь дяди Коли, который повествовал о женщинах-работницах рынка, не носивших трусов под белыми халатами, о том, как он с утра до вечера всаживал свою плоть в их горячее мясо.

– Цельный день работал. Порубишь, покуришь, поибешь. Дома только сядешь – Нинка жопой верти?т... Вот была жизнь, итить!

Он пил «Русский лес» небольшими глотками, будто старческий вечерний кефир, и горевал вслух, жаловался на то, что его жена болеет суставами второй год и никак не может прибиться к берегу жизни – выздороветь и «пустить в койку», либо пересечь уже смертную черту, и тогда он, «молодой-здоровый», переедет за город, в совхоз «Победа», где работает Валентина, племянница жены, вдова «с сися?ми».

Дядя Коля ерзал на табуретке и лапал красными руками воздух. Мне казалось, что вдова заполняет собой комнату, поддается на ласку, разверзает ложесна. И вот уже она везде. Это не слюни дяди Коли летят мне в лицо, это секреты

возбужденной вдовы... Мне становилось душно, я пытался куда-то убежать, звенело разбитое стекло, кровь брызгала на ситцевую занавеску, яблоня обнимала меня прохладными ветвями, шептала слова утешения, но от яблони тоже пахло одеколоном... неудержимая рвота...

«Всему лучшему во мне я обязан книгам», – утверждал Максим Горький. А я бы так сказал: «Всему лучшему я обязан пластинкам Фрэнка Заппы, Джоан Баэз, Кшиштофа Пендерецкого, Брайана Ино, Чарли Паркера, Мадди Уоттерса и Александра Вертинского, о существовании которых мне стало известно благодаря Ибрагиму». К тому же он чуть было не познакомил меня с Грэмом Грином. Нет, не с произведениями английского писателя, а с ним самим, лично. Вот как это было.

Я лежал на нечистой больничной кушетке, в руку мою была воткнута игла, посредством которой я сообщался с каким-то медицинским сосудом. Физраствор медленно перебулькивал в мой организм, разжижая кровь, почти свернувшуюся от дяди-Колиного угощения. Моя бабушка сидела рядом на кривоногом больничном стуле, губы ее были возмущенно поджаты. Каждые десять минут она подавала мне эмалированную (чуть не написал «с яблоками») утку, которую я наполнял такой душистой жидкостью, что хоть обратно во флакончики «Русского леса» разливай. По кафельным стенам скакали лохматые солнечные зайцы. Я лежал. Мне хотелось понять, отчего пациенты отделения детоксикации называют белую горячку «белочкой». Но думать было трудно. Тихая пыльная комната, шаги в коридоре, скрип двери, острая мордочка Ибрагима просунулась внутрь.

– Как дела? – спросил он.

Бабушкин взгляд был страшен, как меч джедая, но отважный Ибрагим все равно вошел в палату.

– Знаете ли вы, что сегодня вечером в Дом ученых на заседание английского кружка придет Грэм Грин собственной персоной? Я думаю, надо взять у старикана автограф.

Это сообщение, вышедшее из уст одеколонного пьяницы, потрясло мою книголюбивую бабушку. Разумеется, у нее в библиотеке был весь Грин на

русском языке, она читала в местной газете о том, что беспокойный беллетрист решил посетить на старости лет Советский Союз и, в частности, наше засекреченное захолустье. Но она даже не мечтала о личном контакте с писателем. Советские читатели знали свое место.

- Сомневаюсь, чтобы вас пустили. Его наверняка стережет КГБ.

- Пускай стережет. Мы будем тихо сидеть в народном театре, на репетиции, - Ибрагим охотно выкладывал свой план, в котором, оказывается, было место и для меня. - Гэгэ под охраной кагэбэ будут показывать Дом ученых, он зайдет в театр, - а там мы, бледные юноши с книжками в руках, кричим: «Эй, Джи Джи, пен, плиз!». Но ехать нужно сейчас, пока в ДУ не перекрыли входы и выходы.

- Что ж, - сказала бабушка. - Это дельно. Бегите, юноша, ловите такси. Мы за вами.

Она достала из сумочки клочок ваты, продезинфицировала его каплей духов «Шанель» и вынула из моей вены иглу.

- Зажми ватку. Вставай. Мы должны заехать к нам на квартиру за книгами, я дам тебе две. Что я, рыжая, оставаться без автографа?

Чувствуя, что в эту минуту мне абсолютно пофиг вся мировая литература, опустив голову, я покорно шел позади бабушки. И вдруг обратил внимание на ее фигуру. Она была совсем даже ничего. Бабушка, оказывается, покачивала бедрами при ходьбе. На ней было импортное крепдешиновое платье с узором из эйфелевых башен, серьги с изумрудами, замшевый пояс, подчеркивающий талию. Она пахла «шанелью». Мне было плохо от любого парфюмерного запаха, даже самого изысканного, мысли обрывочно скакали: шестьдесят пять лет... заслуженная учительница... Ибрагим прав... Доказательством мог служить мой внезапно вставший член. С эрекцией хорошо отдохнувшего фавна я шел больничным коридором, лавируя среди страждущей клиентелы отделения детоксикации, и в этот момент я понял, что секс... нет, я понял, что бабушка... нет, не так... Я понял, что все мы - на одном корабле, тонущем в океане желаний. Это было реально дзенское сатори. Эти трое - Ибрагим, бабушка и дядя Коля - не сговариваясь, приземлили мое поэтическое эго в больничном коридоре, и лишили его невинности. Было бы глупо сердиться на них. Они ведь этого не хотели. Каждый из них, как водится, хотел чего-то своего, - а досталось

мне. Я и не сердился, а просто принял жизни чувственный дар.

После такого было даже не обидно пропустить встречу с Грэмом Грином. Когда мы с Ибрагимом подкатили на такси к Дому ученых, там кучковалась небольшая группа любителей английского языка (почти все эти люди сейчас выехали в другие страны на ПМЖ), которая тревожно гудела, обсуждая происшествие с Постаментовым, актером-любителем из Народного театра. Как нам было рассказано, Грина привезли в Дом ученых на три часа раньше обещанного. Это был тонкий ход гэбэшников, которые очень боялись, что оборзевшие, потерявшие страх интеллигенты не дай бог соберутся, устроят провокацию, подадут петицию... Короче говоря, они организовали экскурсию так, что Дом ученых был пуст. Только в фойе тихо дремал, свернувшись в черном кожаном кресле, похмельный актер Борис Постаментов. Был он смуглолицый брюнет, поэтому слился с кожаной обшивкой кресла и остался контрразведчиками не замечен. Когда делегация проходила мимо, Постаментов открыл глаза, присмотрелся к высокой фигуре английского писателя и радостно закричал:

– How do you do, Mr. Green?

– How do you do? – поздоровался писатель.

Сопровождавшие англичанина замерли, поняв, что вот она, блядь, провокация. Постаментов хотел еще что-то сказать по-английски и даже рот открыл, но не мог больше вспомнить ни слова. Грин из вежливости подождал несколько секунд и пошел себе дальше по розовой ковровой дорожке, лежащей поверх скрипучего доисторического (дореволюционного! – уверял старик-истопник) паркета, слушая вполуха взволнованный рассказ пожилой женщины-переводчика о том, что под крышей этого дома провел одну ночь последний император России Николай (был 1987 год, и о царях начинали говорить с симпатией), и что сейчас она покажет ему комнату, где стояла царская кровать. Пообещав это, женщина покраснела.

А Постаментова тем временем скрутили и увели через черный ход...

Писатели бывают молодые, состоявшиеся и хорошие. О последних умолчим, дело темное, лишний раз доказывающее иллюзорную природу мира. Если писателя не печатают, то он на всю жизнь остается молодым, хотя иногда, после смерти, открывается, что он – хороший. Но тяжелее всего состоявшимся, которые точно знают, чего стоят, и ясно понимают, что выше головы не прыгнуть.

Писатель, о котором пойдет речь, жил в Сибири и звался ГМПопов. Он начинал печататься в те далекие времена, когда на обложках книг вместо полного имени указывали инициалы автора – НВГоголь, АСПушкин, ЛНАндреев, ЭХемингуэй, с трудом узнаваемые ЭПо, ИВо и ЭСю, а также братья-близнецы ГМанн и ТМанн, украшали советские библиотеки, в которых ГМПопов занимал свое законное натруженное место.

Конечно, его тоже раздражали молодые. Они перли в литературу, как в переполненный трамвай, прямо с улицы: дяденька, а можно я тут постою рядом? дяденька, а передайте рекомендацию на вступление в Союз! а поменяемся местами? а вам слазить не пора? И т. д.

С другой стороны, была и от них польза. Сгонять молодого за бутылкой, помацать лохматую поэтессу, выудить из незрелой писанины интересный сюжет. ГМ легко соглашался возглавить жюри очередного конкурса молодых талантов. Сидел во главе стола, как дед Мазай, прикидывая: утопить этого зайчика или еще подергать за ушки? Чаще всего они сами тонули в житейской мути. Но попадались и бронебойные графоманы, которых хоть веслом по голове бей – на следующий год опять выныривают с листочками в зубах. И гребут, гребут к твердому берегу читабельности.

ГМ делил коллег, членов СП, на настоящих и несостоящих. Профессиональный юмор. Молодежь к нему тянулась, принимая цинизм за искренность.

Однако и на старуху бывает порнуха. И у самых прожженных остаются в душе островки, где цветут ромашки. На очередном ристалище надежд, перед лицом жюри явилась пара молодых балбесов без страха и трепета.

«Здравствуйте, товарищи писатели уцененной литературы!» – громко сказал один, а второй подхватил: «Мы принесли рукопись, чтобы вам было чему завидовать».

Хамили по-черному и моментально допекли настоящих членов. Кто-то из них чуть ли не в милицию собрался звонить.

ГМ улыбался, наблюдая балаган, редкий в этих стенах. Что балбесам ничего не светит на литературной поляне, он понял сразу, как только пробежал рукопись по диагонали. Там рассказывалось про дурдом и о том, как весело скрываться «под хрустящим крылом психиатра от службы в адах Вооруженных сил». Никаких шансов. Перестройка шагала семимильно, и куски реальности уже выходили из-под контроля, но армия – это было святое. Некоторые прогрессивные толстые журналы печатали опусы на тему «дедовщины». Однако на вкус ГМ, отслужившего в свое время три года, это были пошлые выдумки журналистов.

Но дело не в том. Балбесы писали не то чтобы прямо хорошо, но ярко, и не имели при этом шансов, даже гипотетически. А значит, с ними можно было позабавиться. Да и за коньяком в гостиничный буфет они бегали не хуже других, когда ГМ барским жестом доставал очередную четвертную. В ту ночь деньги пропивались как-то особенно лихо.

Белый аист нарезал четвертый круг над прокуренным номером (маститые + балбесы + юная сказочница без лифчика под блузкой), когда местный фантаст, крякнув, достал из портфеля свое – папку с только что законченным романом. Фантаст был стабильно читабелен, подражал Стругацким и переводился на языки братских стран. ГМ его физиологически не переносил, из-за неопрятной лысины и тяжелой серьезности, которую фантаст сохранял, даже бляя с перепоя.

Он давно обещал этому автору протекцию в ленинградском журнале. ГМ вообще обещал много и с удовольствием. Ему нравилось смотреть, как глупеют лица обнадеженных. Вот и сейчас он изобразил кулаком правой руки жест стопроцентной гарантии, глядя через плечо визави на сомлевшую юную сказочницу, прикидывая: стоит ли оно того?

Он намеревался прийти к окончательному решению, когда спровадит гостей, но балбесы вдруг встали со словами, что им пора (никто не возражал), а девичье тело они забирают с собой, потому что так надо. ГМ слегка опешил.

Председатель местного отделения, стихотворец и простая душа, грубо возразил балбесам, что без них как-нибудь разберутся с телом. Тогда они нагло спросили, надо ли уведомить администрацию гостиницы о бесчувственно пьяной девушке,

которая остается в номере таком-то до утра? Умный ГМ не дал простой душе устроить драку и, наблюдая эвакуацию сказочницы в неизвестном направлении, представлял на разные лады, как распорядятся балбесы свой добычей.

А через полчаса обнаружилось, что они и коньяк сперли, две из последних четырех бутылок. То есть оборзели беспредельно. Эту пьянку, решил ГМ, следует закончить на высокой ноте. Он распрощался с коллегами, усадил их в такси, а сам остался стоять на перекрестке созерцателем ночи. Осенняя улица золотилась фонарями. Поблескивали лужи на трамвайных путях. И сам трамвай, очень кстати, громокая, ковылял со стороны вокзала. Восхитившись отзывчивостью этого мира, ГМ расстегнул плащ и занял удобную позицию в одном шаге от рельсов.

Трамвай задерживался на светофоре. Зевающая вагоновожатая, увидев одинокую длинную фигуру, вопросительно полуоткрыла переднюю дверь. Писатель помотал головой в знак отказа и хищно улыбнулся. Поворотом ручки женщина затворила дверь. Мигнул зеленый. Трамвай приближался, набирая ночную скорость, дыша перегаром машинного масла.

ГМ считал про себя: три, два, один... «Пуск!» – закричал он во весь голос, выхватил из-за пазухи рукопись и метнул под колесо. Папка упала идеально, как надо, и была разрезана точно пополам. ГМ станцевал на шпалах канкан, улюлюкая по-индейски, в вихре обрывков фантастического романа. Колёса хорошо его покромсали.

По дороге в гостиницу он убеждал себя в том, что признателен балбесам за избавление от банальности.

Он любил путешествовать, как всякий романтик из шестидесятых. Юношей выучился на гляциолога, чтобы попасть в Антарктиду. Исполнил мечту и узнал, что научные экспедиции – зеленая тоска и сплошное пьянство, особенно когда пересекаешь Индийский океан. Но не растерялся, не спился, а потратил пустое время на сочинение приключенческих романов о подвигах комсомольцев. Езда в незнаемое оказалась перспективной. Вскоре ГМ уже восседал на небольшом Олимпе посреди Западно-Сибирской низменности. К концу семидесятых стал безгранично выездным и за десять лет облетел полмира в качестве голубя советской литературы.

В том году в списке значились Куала-Лумпур, Бруней, Сингапур, Дели и Катманду, где он подружился с малоизвестным поэтом-битником, имевшим при себе волынку с кокаином. Всю ночь они с битником дули в клетчатый мешок под стоны двух влюбленных шведок, обжимавшихся на ковре, а утром надо было лететь в Москву, бедную, голодную и некрасивую. Оттуда в Сибирь, где с нетерпением ждали его приговора молодые таланты.

Пара балбесов была тут как тут. Они успели накатать вторую часть своей безумной эпопеи и опять на что-то надеялись.

– Через месяц еду в Германию, – сказал ГМ, чувствуя прилив вдохновения. – Возьму вашу рукопись с собой и заброшу в «Посев». Теперь уже можно. А если дадите мне второй экземпляр – отправлю в Канаду Саше Соколову.

Слова выходили легко, физиономии идиотов искрились восторгом.

ГМ еще не успел придумать, каким способом казнит их писанину, а ему от балбесов уже прилетела новая заушина. В перерыве секретарь жюри поманила его к своему столу.

– Хочу вам кое-что показать, – дрожащим голосом выговорила она. – Вы с этими дегенератами обнимаетесь, а они вот что сделали с вашей книгой, – женщина достала из ящика прошлогоднюю повесть ГМ.

Автор раскрыл книгу, и в глазах у него запестрело. Весь текст, страница за страницей, был исчеркан разноцветными карандашами. Пролистав до конца и убедившись, что вандалы не пощадили ни строчки, ГМ вернулся к началу и прочел на титульном листе надпись печатными буквами: «ГМ Попов подарил нам эту херню, мы над ней работали, вычеркивая лишние слова». Дата, подписи.

– Шалят, – произнес он сквозь зубы. – Дело молодое.

Той же ночью, перед тем как трахнуть в попку юную сказочницу, ГМ излил на нее полбутылки игристого и облепил, как горчичниками, рукописью балбесов. Читал до утра и смеялся. Бесценный опыт.

В следующем сезоне он повысил градус наслаждения до головокружительного. Публично расхвалив балбесов за то, что те явили миру очередную часть своей саги, ГМ подстерег их в курилке и шепотом рассказал, что избран в жюри «Русского Букера», куда собирается номинировать трилогию о дурдоме.

– Саша в полном восторге, он поддержит. «Посев» в этом году сидит на мели, но к оглашению результатов книга, я думаю, все-таки выйдет.

Они чуть сигареты не проглотили.

– А можно написать Саше Соколову? – блеющим голосом спросил один из них.

– Написать-то вы можете, – улыбнулся ГМ. – Только Саша вряд ли ответит. Ужасный мизантроп.

А на четвертый год всё кончилось. Союз и нерушимость оказались пшиком. Накрылись загранички. В телевизоре ликовали пошляки. Юная сказочница обзавелась членским билетом и ядовито шипела, когда ГМ пощипывал ее задницу. Да и вообще из-под масок совписов вылезло такое... Стервятники, шакалы, трупные черви с загребущими руками. Литературу пришлось отложить. Всю осень и зиму он, как Геракл, занимался исключительно склоками и приватизацией. Поэтому обрадовался, словно родному, звонку от балбесов. Голос в телефоне проямлил, что вот, мол, у вас в городе проездом, и хорошо бы встретиться. «Какой разговор!» – воскликнул ГМ, на мгновение опять почувствовав себя мэтром. Встречу назначили недалеко от центра, в пивнушке на задворках оперного театра.

За столом сидела одинокая и довольно унылая фигура.

– Где второй? – бодро спросил ГМ, подзывая официантку.

– Уехал в Аргентину. Пристроился в очень либеральный сумасшедший дом. Всем доволен.

– Ого!

ГМ подумал, что, наверное, зря пришел, ведь балбесы работали в паре, вряд ли с одним будет так же весело. Принесли пиво.

– Ну что ж, соавтор, – ГМ поднял кружку. – Выпьем за упокой. Нашего союза нет, да и ваш, я смотрю, развалился.

Выпили, помолчали.

– А теперь – за новую жизнь! Только подожди, пивом не чокаются. У меня есть закрепитель, – достал из внутреннего кармана мерзавчик «Распутина», соорудил ёрш и опять поднял кружку сильной рукой: – Пей, Иван Гордист!

Они пили, и заведение понемногу наполнялось тенями. Входили первопроходцы запоя, успевшие трижды отречься от заблуждений, входили доносчики и требовали долива после отстоя, входили подруги жизни – первая, вторая, третья, – целый клубок извивался у двери. Являлись трезвенники, на поверку всегда оказывавшиеся самыми крупными сволочами. Вечер становился на рельсы и катил по известному сценарию: разбег, взрыв, надрыв, безумие. Кто-то картавый рычал: «Стар-р-рик, ты не был на Север-р-рном полюсе!» Стихотворец, простая душа, пару лет назад сиганувший в шахту лифта, как хрустальную вазу, держал на коленях четырнадцатилетнюю поэтессу, из-за которой все и случилось.

– Говорил я ему – доиграется! – ГМ стукнул кулаком по столу. – Набоков сраный!

– Что?

Балбес ничего этого не видел. Настоящая жизнь была ему недоступна. В дурдоме было его место. Вот только дурдом сейчас повсюду – и значит, это племя молодое оказалось право, а он, старый лось, ничего не может с этим поделать. Только пить. Официантка подтаскивала новые кружки. ГМ подливал туда водки, которая чудесным образом не заканчивалась в мерзавчике. Прощай, молодость, прощай, белый аист!

– Еще! – кричал он, ускоряя темп, жертвуя фигурами речи ради прямолинейного мата. – Жизнь, ебать ее, это пиздец. Пей!

– Много, много, – подвывал балбес-соавтор. – Увольте!

– Как я тебя уволю, если ты ничему не служишь? Где твоя высокая идея?

– Я по делу пришел.

– Говори.

– Ваша книга, – балбес вытащил из кармана свежую повесть ГМ, подписанную в печать накануне рокового августовского дня. – С нашими кусками. Вот тут, тут и в конце. Содрано без кавычек. Как понимать?

Можно было бы, конечно, взять себя в руки, улыбнуться снисходительно и что-нибудь наплести. Скажем, другой балбес разрешил использовать перед отъездом в Аргентину. Ты не в курсе? Странно, что он тебе об этом не сказал. Могу найти его письмо, если хочешь. Только весь этот бисер, ГМ чувствовал, был уже ни к чему. Время хороших манер прошло. Он поднялся из-за стола.

– Сейчас я тебе объясню устройство мира в легкой доступной форме, – он высоко поднял кружку. – Ты просто не врубаешься в дзен. Смотри вверх!

Резким движением вылил пиво на глупую морду балбеса и, подбросив вверх мокрую пустоту, успел подмигнуть официантке перед тем, как принял удар лысеющим теменем.

Она много раз видела этот номер, но никогда не успевала вовремя зажмуриться.

Выхожу 1 ја на дорогу

Древний китайский мудрец Кун-цзи (никакого Конфуция никогда не было) коротко и просто описал технику путешествия автостопом. «Путь в тысячу ли, – сказал он, – начинается прямо под ногами». Так и есть. Это легко проверить. Нужно только встать с дивана, выйти из дома, на троллейбусе (без билета, разумеется) доехать до конечной остановки, перейти мост (он должен быть обязательно) и оказаться в чистом поле, оставив позади несерьезные мысли о

самоубийстве и необходимость учить уроки. Паша допустил единственное отклонение от древнего канона – перед выходом на трассу заскочил в «Букинист» и обменял на десять тысяч рублей роскошный медицинский атлас, год назад подаренный ему предками в награду за поступление в универ.

Теперь он стоял, как положено, у выезда с заправки и ждал, подняв руку и воротник серого пальто. А перед этим звонил из телефона-автомата отцу и что-то врал о планах пересдачи летней сессии. «Ты откуда говоришь?» – спрашивал отец.

Была весна. Черные деревья вдоль реки, скованные невидимой цепью ветра, синхронно сгибались, передавая информацию о стоящих на дорогах и тех, кто их подберет. Человек на дороге рассматривал черные деревья, и душа его наполнялась мечтой о дальнобойном «КамАЗе», который везет тебя прямо к цели, куда надо, без дурацких пересадок в дурацких маленьких городках, где местное население добывает уголь, пьет водку и всегда готово набить тебе морду.

Но в этот раз с дальнобойщиками не сложилось. Паше досталась пошлая иномарка с простым мужиком, которому он представился буддистом, сказав, что едет в другой город на коллективную медитацию. Это должно было уберечь его от предложения дать денег «на бензин». Ежу понятно, что у буддиста не может быть денег.

Мужик не особенно удивился, только сказал:

– Я их видел в Корее – они ходят в желтых плащах, и все бритые. А ты волосатый.

– Скоро побреют, – ответил Паша.

– Понятно, – сочувственно вздохнул мужик. – А зачем она вообще нужна, эта медитация?

– Подготовка к переходу в другой мир.

– Нихера себе, – сказал мужик и закурил. – На тот свет, что ли? Ну ты даешь! А вот если, например, такой случай – пошел человек к знакомой бабе отдохнуть, а потом сел бухой за руль, и – в столб. У меня это с другом было. Помер не готовый совершенно, – и чё тогда?

– Если человек умирает, когда им владеют страсти, он перерождается в мире животных.

– В мире животных! – захохотал водитель и сбавил скорость, чтобы вытереть слёзы. – Ой, не могу. «В мире животных»! А может, «В клубе кинопутешественников»?

– Вы меня неправильно поняли... – начал Паша.

– Правильно-правильно, – перебил его водитель. – Это классно, что я тебя подобрал. – Он прибавил газу. – Ты еще рассказывай.

Паша рассказал ему о четырех благородных истинах, шести мирах перерождения и восьмеричном пути. Только про нирвану умолчал, опасаясь, что простой мужик расстроится, когда узнает, чем всё это заканчивается.

– Слушай, – перебил его мужик. – А вот у евреев – у них так же?

– Не знаю, – ответил удивленный Паша.

– А ты еврей?

– Нет.

– А вот у меня зять еврей. Сопляк, вроде тебя, хочет уехать в Израиль, чтобы в армию не идти. Ну, тут у нас понятно – чечня-мучня. Но ведь там тоже с террористами воют. – Он опять закурил свой гнусный вонючий «Космос». – Значит, евреи животными не становятся? А русские?

Паша не успел ответить: на его счастье водитель заметил на обочине голосующую деревенскую бабку и остановился. Со стонами и вздохами благодарности престарелая автостопщица влезла на заднее сиденье. «Вот

молодцы какие, старуху подобрали, наши не взяли, а чужие – взяли. Вот молодцы ребятки!»

– А мы, мать, буддисты! – заорал добрый водитель, испугав Пашу своей эмоциональной неуравновешенностью. – В Новосибирск едем. Будем учиться, как в гроб ложиться.

– Это как же? – ахнула пассажирка.

– Да вот, записались на бесплатные курсы, типа, экскурсия на тот свет.

– Хорошо вам, молодым, – помираете даже понарошку. А тут ждешь, ждешь, всё уже готово... – она порылась в кармане и вытащила записную книжку. – Как звать-то вас?

– Паша, – сказал Паша.

– Вадим я. А тебе, мать, зачем?

– Помянуть, – объяснила старуха. – Тут ждешь, ждешь, а молодые, гляди, уже шуруют вперед... Понарошку, гляди...

От бабки избавились с удовольствием. Битый час, до самой своей Козюльки, она в подробностях рассказывала, что и как приготовила себе на похороны. При этом она уважительно поглядывала на охреневших Пашу и Вадима, словно ждала, что ей подскажут что-нибудь дельное или укажут на какое-то упущение.

– Интересно, – сказал Вадим, когда старуха покинула салон автомобиля. – А это не вредно?

– Что?

– Да ладно! Не вреднее водки.

Они поехали дальше. Водитель задумался о чем-то своем и оставил Пашу в покое. Паша опустил спинку кресла, вытянул ноги и устроился так удобно, что все его мысли, спутавшись в клубок, укатились из головы куда-то вниз, в

кроличью нору, во внутренние покои, где на чем-то вроде стены висела панель телевизора и какая-то темная фигура сидела перед экраном в позе лотоса. Она махнула ему рукой, чтобы он садился и отвечал на вопросы викторины: с чем бьется сердце? почему такая форма? и зачем это всё? Ответов он не знал. Тогда фигура переключила канал на документальный фильм о путешествии простого мужика с ненастоящим буддистом. Фильм был немой и сопровождался субтитрами, которые переливались радужным сиянием, отчего текст непрерывно менялся. То «путешествие простого мужика с настоящим буддистом». То «непутешествие непростого немужика с ненастоящим небуддистом». То еще как-то. Потом НЕ мигнуло, окончательно растворившись в сиянии. Фигура толкнула Пашу локтем в бок и произнесла осмысленный текст:

- Середина пути. Просыпайся - отдохнем.

Хлопнули дверцы. Водитель и пассажир зашли в бесплатный туалет, отлили в мрачную бездну, прополоскали руки под ржавым краном, в кафе через дорогу взяли по два теплых хачапури.

- По пивку? - спросил Вадим, но Паша, как Штирлиц, выдерживая легенду, ответил, что ему не позволяет религия.

- Здоровеньким помрешь, - Вадим заказал, получил и отхлебнул мутно-желтый напиток с легким запахом стирального порошка. - Много на свете чудиков, я даже удивляюсь. Вот у меня, например, в этом районе, в деревне неподалеку, живет кореш. Как-то раз гулял я у него на свадьбе. Пили, ты не представляешь, спирт в канистрах, пиво флягами... короче, до победного конца. На третий день вышел я на улицу подышать и сцепился с местным жителем. Сначала хотели подраться - а потом нашли общий язык. Он - немец, вся семья у него свалила на историческую родину, а он не захотел. Съездил один раз в дойчланд - и заскучал. Я спрашиваю: а чем тебе немцы не понравились? Он говорит: не знаю, вроде нормальные люди - пьют, курят, помирают. Но чё-то там не то... Короче, пришли мы к нему домой, сидим на кухне, бражку кушаем, - и вдруг в углу, под раковиной, чё-то завозилось. Я говорю: «Че у тебя там, Володя?» А он говорит: «Орел». Представляешь? Мужик подобрал раненого орла, вылечил и с ним живет. Размах крыльев - кухня, клюв - как молоток, таким долбанет - и всё: прощай, семья, бизнес. Я говорю: «Нахрена он тебе?» А он говорит, что орел ему типа лучший друг и собутыльник, тут же наливает стакан и орлу в клюв опрокидывает. Через пять минут эта зверюга сидит, между нами, на третьей табуретке, кивает башкой, а когда надо смеяться - клекочет и плечами трясет.

Чё-то мне стало жутко, ушел я от них. А сейчас думаю: наверное, этот орел раньше тоже был человеком...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Навикжелить – неологизм времен Гражданской войны, образованный от ВИКЖЕЛЬ (Всероссийский исполком ЖД-профсоюзов), который организовывал забастовки, парализующие движение по железным дорогам.

2

Неба нет, только снег и страх на земле... (англ.)

3

Офицер, словно ангел, теперь бестелесный... (англ.)

4

Часовщик низвергнулся в ад... (англ.)

5

Да. Мы кривые побеги смерти,

растущие сквозь окровавленный снег... (англ.)

Купить: https://telnovel.me/ru/filimonov_andrey/vyhozhu-1-ja-na-dorogu

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)